

А. ЭГЛИТИС. ОХОТНИКИ
ЗА НЕВЕСТАМИ

Ю. БОРЕВ. СТАЛИНИАДА

УДИЛЬЩИК НА ДВИНЕ

90

Даугава



С выставки «Latvijas laiks». Крестьяне. 1890 год. Автор снимка неизвестен.
[Материал см. на с. 28]

Даугава

ФЕВРАЛЬ (152)

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ. РИГА

В НОМЕРЕ:

Проза и поэзия

- 3 *Аншлавс Эглитис*
ОХОТНИКИ ЗА НЕВЕСТАМИ. Роман. Вступление
А. Якубана.
- 28 *Андрис Якубан*
«LATVIJAS LAIKS»
- 40 *Петерс Бруверис*
ПТИЧЬИ КРИКИ, РАКОВИНЫ, ЯНТАРНЫЕ ЧЕРЕПА . . .
Стихи
- 45 *Юрий Борев*
СТАЛИНИАДА
- 64 *Вилис Плудонис*
УЛОВ САЛГАЛЬСКОГО МАДИСА. Стихи
- 67 *Юрий Абызов*
РИГА
ПОЛТОРА ВЕКА НАЗАД:
РОМАН С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
- 69 *Калика Перехожий*
УДИЛЬЩИК НА ДВИНЕ
- 81 *Олег Кругликов*
СТРЕЛА. Стихи
- Публицистика
- 84 *Петр Вайль, Александр Генис*
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. Фрагмент из книги «60-е».
Окончание

1990

2

(см. на обороте)

В номере (окончание):

Культурология

- 93** *Татьяна Гостюнина*
ГЛАВНАЯ КНИГА МИГЕЛЯ ДЕ УНАМУНО
- 94** *Мигель де Унамуно*
О ТРАГИЧЕСКОМ ЧУВСТВЕ ЖИЗНИ

Обзоры, размышления, рецензии

- 100** *Андрей Левкин*
МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТО-ТО ЕЩЕ И ПОЛУЧИТСЯ
- 105** *Алексей Ивлев*
КОГДА РУХНЕТ СЕНА

Мемориа

- 108** *Лазарь Флейшман*
В ДНИ «ЕЖОВЩИНЫ». Окончание

- 125** Почта «Даугавы»

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

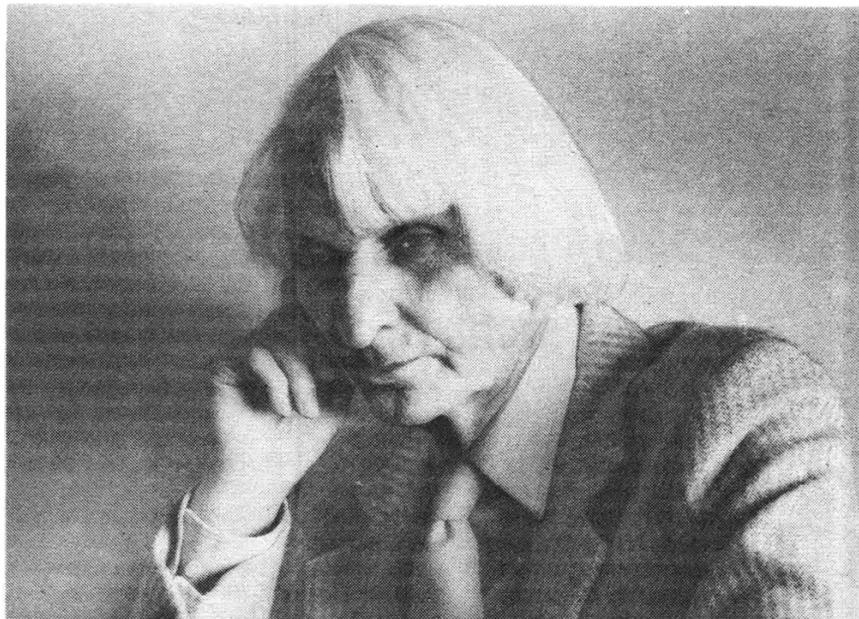
Главный редактор
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (отв. секретарь), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАН (зам. главного редактора).

Редакция

Алла ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, Илан ПОЛОЦК, Вадим РУДНЕВ



Аншлавс Эглитис. Февраль 1989 г. Лос-Анджелес.

Фото Гунара Яняйтиса

Подпись под этой фотографией свидетельствует, что для беседы с этим своеобразным латышским писателем надо ехать в Америку или звонить в Лос-Анджелес.

Аншлавс Эглитис родился в 1906 году и, таким образом, предоставляет нам художественные свидетельства почти обо всем столетии.

В литературу он вошел в тридцатых годах яркими рассказами и безгранично популярным романом «Охотники за невестами». Он, кроме того, и художник, ибо окончил Академию художеств.

Однако большую часть своей жизни он обитает в Америке, работает сценаристом в Голливуде и, разумеется, пишет ряд романов о находящихся в эмиграции латышах. Эти книги еще недавно хранились только в спецфондах, и потому имя его и произведения современным читателям неизвестны.

Он до сих пор остается неизвестным автором, потому что в 1944 году был арестован его отец — латышский поэт Виктор Эглитис, скончавшийся в тюрьме вскоре после ареста. Аншлавс Эглитис заявил, что свои произведения он разрешит публиковать на родине лишь в том случае, если отец будет реабилитирован. Но очередь на реабилитацию слишком велика, и черед профессора Виктора Эглитиса пока не настал.

Аншлавс Эглитис в порядке исключения разрешил журналу «Даугава» опубликовать перевод его раннего романа «Охотники за невестами».

В октябре 1988 года «Даугава» опубликовала рассказ Аншлавса Эглитиса «Фарон». Редакция планирует также опубликовать один из романов писателя, созданных в годы эмиграции.

«Охотники за невестами» это, пожалуй, наиболее яркое и своеобразное художественное свидетельство о Латвии перед второй мировой войной.

ОХОТНИКИ ЗА НЕВЕСТАМИ

Р о м а н

Перевел Леон ГВИН

1

Чуют, чуют мои ноздри
Ананаса запах острый.
Ян Судрабквалн

На фоне ночного неба возвышается немая каменная громада великолепного пятиэтажного дома. Похожего на генерального директора, которому давно не нужны ни реклама, ни протекция. Плавающим лунным оловом заливает крытые шифером высокие башенки, флюгера враспор, как букеты цветов или гроздь кораллов, и грузных сторожевых львов по углам крыши, повернувших друг к другу по-собачьи поднятые хвосты. Призрачный свет, стекая с витого карниза, блестками дробится по украшающим фасад бесчисленным барельефам и скульптурам. Какой только лепнины нет на этой стене! Длинные волосковые стебли и листья стилизованных растений тянутся через несколько этажей, окаймляя синие полосы глазурованного кирпича, которым выложены там и сям межоконные промежутки. Две дебелие кариатиды — из одежды на них только загадочно-узорчатые пояса и накинутые на плечи сагши — подпирают центральный балкон, являя зрителю символы изящных искусств. Меж ними кот в сапогах держит в лапах щит с выгравированной на нем датой 190 *. Гигантские лики надменных амазонок, сфинксы, ширококоротые трагические или насмешливо-комические маски, морды львов, разинувших пасть в патетическом рыке, и винторогих баранов, совы, веерохвостые павлины и великое множество млекопитающих,

гадов и насекомых превращают этот фасад в огромный фолиант с картинками. Едва ли не каждое окно, по крайней мере всякий ряд имеет своеобразную форму. В нижнем окна круглые, в следующем ряду — как сколотые сахарные головы, в третьем — со скругленными пузатыми углами, притом в центре здания переливчато светится огромная, в три переплета, овальная амбразура. Проемы четвертого ряда прямоугольные, пятого — в виде замочной скважины, шестого — напоминают прописную Т, и в них мерцает звездный полог, — шестой ряд пробит в декоративной стене, возвышающей фасад на целый этаж.

Двое юношей, задрвав головы, стояли перед домом и уже довольно долго его разглядывали.

«Надо же, — заметил тот, что повыше, — чем не фантазия безумца, верх безвкусицы: к павлиньим хвостам прикреплены громадные гипсовые кольца, которые свешиваются вдоль стены. Вот уж стиль так стиль, этот старый добрый «модерн», или «югенд», как его называют немцы».

«Два подъезда и строение во дворе, — пробормотал коренастый, размышляя вслух. — Шесть, ах нет, пять этажей. Значит, сорок квартир; в здешнем районе это около 4000 латов месячного дохода. В наличном остатке примерно 2000, а за вычетом собственного жилья и скидку знакомым — ну, скажем, 1500 латов».

«Смотри, обремизись с парадными: над проходом во двор они соединяются в небольшой вестибюль, и в действительности лестница там одна».

«Гм, вроде шестого этажа. Итого по 10 квартир в каждом корпусе. 750 латов в месяц. И это ты называешь доходом?»

«Не забудь, что у Сургениека в Курземе образцовый хутор, без малого помещичья усадьба — там и рыболовные пруды, и сады со шпалерными деревьями и карликовыми деревцами, плодоносящие на две недели раньше обычного, теплицы под виноградом, плантации лекарственных растений, породистый скот, беконные свиньи. К тому же на взморье, в Майори, ему принадлежат две виллы, в одной сдаются комнаты с пансионом, но главное — он директор крупного банка, а это капиталы и кредит, неограниченный кредит».

«Кредит? Не во всяких руках кредит оборачивается прибылью. Чаще — долговой ямой».

«Ну уж, в хватке Сургениека можешь не сомневаться».

«Пусть так. Будь у Сургениека одна дочь, я бы, пожалуй, назвал его богатым, но у него, как ты говоришь, две дочери и два сына, а значит, он всего лишь зажиточный человек, если не сказать просто сытый».

Шершавая кожа на лице говорившего напоминала суровое пиебалгское полотно; она обтягивала скулы, как чехол, которым укрывают почетное кресло. Мрачные, глубоко посаженные глаза, густые лохматые брови, длинный нос, острый подбородок, тонкие, как ножевая царापина, губы придавали этому лицу фанатичное выражение — сдержанное, холодное, не улыбочивое. Сухо потрескивали слова. Цвета ржавой воды драповое пальто с бархатным воротником, сшитое неумелым сельским портным, топорщилось на нем. На голове черная велюровая шляпа.

«Зайдем, пожалуй», — произнес он, и друзья отворили застекленную дверь.

Стены лестничной клетки были облицованы темно-зеленым и красным муравленым кирпичом. Одним махом преодолев 15 ступенек, юноши очутились в невысоком вестибюле с большим окном, начинавшимся прямо от мозаичного пола. Восемь приземистых массивных колонн и потолок были увиты сложным и пестрым растительным орнаментом:

листья желтых кувшинок, водяные лилии, лотосы, асфоделусы, — а с капителей, с каждой, тарачились четыре позолоченные маски амазонок. Помещение было такого ядовито-синего тона, что неуловимо напоминало прачечную.

Рассеянно миновав вестибюль, приятели взошли на парадную лестницу и остановились возле витражного окна. Несколько выбитых цветных стеклышек были заменены простыми; в них виден был двор. Тут ничто не напоминало той роскоши, с какой был отделан фасад. Колодец, огражденный неоштукатуренными, закопченными, грязными стенами из песочного кирпича. В дальнем углу огромный цилиндр для мусора, вроде рекламного столба на бульваре, закрытый высокой резной крышкой с помпоном. Сколько ни смотри, других красот не увидишь.

«За деньги, истраченные на декорирование фасада, Сургениек вполне мог выстроить еще и третий корпус», — бросил коренастый и двинулся дальше.

Они дошли до третьего этажа. На медной дощечке изящными литерами с завитушками было выгравировано:

«Давид Ионатан Сургениек».

Коренастый схватил своего спутника за руку.

«Мне как-то неловко. Меня ведь не звали».

«Не беспокойся. Терять нам нечего. Притом Сургениеки, говорят, очень гостеприимные люди. В конце концов, и я тут впервые. Прошло больше месяца с тех пор, как мы с отцом повстречали Сургениека на взморье. Сургениеки по субботам и воскресеньям принимают, но, может, он уже давно запаматовал, что у его однокашника по волостной школе есть сын, и про свое сделанное из вежливости приглашение тоже. Тем более, что мне не удалось завладеть вниманием обеих барышень. Старшая — Гризельда — даже принялась надо мной подтрунивать».

«Вспомнит, будем надеяться. А ты дал ей отпор?»

«Не успел».

«Это хуже. Женщины резкостей не забывают и норовят отплатить обидчику, а примирение, опять же, лучший повод для сближения. Вот и тут все будет зависеть от дочерей. Родителям стоит угодить, только если в семье нет сыновей».

«Ну так, с Богом», — промолвил тонкий и ухватился за кольцо звонка.

Дверь открылась. Перед ними стоял худой черноглазый мальчик лет 14-ти. Мальчики в этом возрасте красотой не отличаются, но этот был едва ли не урод. Узкое смуглое лицо казалось слишком маленьким для огромного краснотелого, странно чувственного рта и глубоких глазниц, внешние уголки которых, если смотреть спереди, смыкались с контурами черепа. Мохнатые темные брови оттеняли низкий крутой лоб. Одет он был по-взрослому, в модного покроя костюм, носил галстук с жемчужной заколкой, на жилете красовалась цепочка. Плавно сведя брови к переносице и дерзко, даже нахально глядя на пришедших, он осведомился у них сладким голосом, в котором слышалась скрытая издевка:

«Что господам будет угодно?»

«Господа, мой юный джентльмен, — сказал тонкий, подражая вкрадчивой манере мальчика, — желают побеседовать с господином Сургениеком, вот наши визитные карточки», — и протянул широким жестом, правда, только свою.

Мальчик не шелохнулся.

«К сожалению, могу предложить господам лишь господина Иманта Сургениека. Остальных господ, Давида и Висвальда, нету дома. А

упомянутый господин к вашим услугам», — слегка поклонившись, сказал он, при этом лицо его оставалось неподвижным.

«Превосходно, я очень рад», — сказал тонкий, проходя в прихожую и нарочито, со всей силы пожимая мальчику руку. Тот даже и не поморщился.

«Коль скоро господин Имант Сургениек был столь любезен и предоставил себя в наше распоряжение, — продолжал тонкий, лихорадочно пытаясь между тем найти подход к мальчишке, который, очевидно, насмеялся над ними, — нельзя ли пригласить барышню Сургениек».

«Которую?» — не моргнув глазом спросил Имант.

«Ну, скажем, к примеру, Гризельду . . . Послушайте, джентльмен, — тонкий внезапно перешел на отечески-покровительственный тон, — вы ведь носите часы на брелке для ключей. Этот широкий захват предназначен для ключей, — замшевой перчаткой он похлопал мальчика по жилетному кармашку, — так можно испортить впечатление от самого лучшего костюма».

Мальчик недоверчиво на него покосился, взял визитную карточку и собрался было удалиться.

«Имик, что тут в конце концов происходит?» — громко и повелительно зазвенел хрустальный голосок: в переднюю ворвалась крупная, пропорционально сложенная брюнетка. Низкий крутой лоб, мохнатые прямые брови, мясистые чувственные губы сразу же выдавали в ней породу Сургениеков. Но эти черты, отталкивающие в облике мальчика, в чарующем свете женственности казались привлекательными. От природы влажные губы подрагивали, взгляд больших живых глаз был дерзким, как у брата, движения — порывистые; казалось, все тело заряжено электричеством, под покровом одежды члены вибрируют и дрожат, как будто живут своей отдельной жизнью; вздымается грудь, собирая складочками облегающее платье, сшитое с таким расчетом, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры.

Оба друга отвесили молчаливые поклоны.

«Добрый день», — сказала она, застывая в изящной позе.

Бросив быстрый взгляд на неуклюжее пальто коренастого, приподняла брови — точь-в-точь как брат. Тонкий поспешно шагнул вперед, распахивая на ходу модное длиннополое пальто из яркой ткани в полоску. Мелькнула ослепительно белая манишка. Брови девушки опустились.

«Мадемуазель, — сказал тонкий, — меня зовут . . . »

«Павел Эпалт», — возвестил мальчик, читая по визитной карточке.

«Точно, — продолжал Эпалт, — мы познакомились в начале сентября в Майори . . . »

«На маскарадики?» — без особого восторга произнесла барышня, выпятив нижнюю губу, отчего подбородок пошел мелкой рябью.

«Нет, около вашей дачи; ваш уважаемый отец повстречал одного старого школьного товарища . . . »

Внезапно губы ее треснули в улыбке, как кукурузный початок, открывая зернышки ровных зубов. Улыбка между тем не предвещала ничего хорошего.

«Ага, значит, вы его уважаемый сын, и это на вас тогда была чудная черная сорочка, как у факира, в самое-то пекло? Надеюсь, у вашего смокинга нормальная грудь?»

«Мне следовало предвидеть ваше необычайное остроумие и поддеть красное, чтобы вам было над чем потешаться. Я неизменно стараюсь угождать дамам».

«На этом далеко не уедешь».

«Позвольте каждому пользоваться собственным методом, уважаемая».

Мне же не приходит в голову злословить над излюбленным вами стилем дикого Запада. О моем методе вы сможете судить часок-другой погодя».

«Ну, один угодник уже торчит там, в зале. Этой методой я сыта по горло».

«Ничего, я буду лечить вас гомеопатическими дозами».

«Так вы женский врач?»

«Для женщины любой мужчина — в некотором роде врач».

«Да к тому же еще и философ. А это уж совсем никуда не годится. Мудрецы — это скучные платоники».

«Не преувеличивайте свое знание людей. Платоника можно определить только при поцелуе: для начала он никогда не находит губ».

«А во второй раз?»

«Кто добрался до второго раза, тот уже не платоник, а энтузиаст. Дамы таких обожают».

«Энтузиастов? Ах вы, идеалист из прошлого века!»

«И все же. С дамской благосклонностью все равно что с врачебной практикой: день-другой не попрактикуешь — и клиента как ветром сдуло. Вот почему счастливых влюбленных можно опознать по стоптанным подметкам».

В дверях уже толпилась стайка девиц.

«Допустим, женщины любят старательных, но тогда каких женщин предпочитают мужчины?» — спросила мадемуазель Сургениек.

«Это уж как придется. Любовь — западня, куда попадают в миг ослепления, а западни не ищут, на нее натываются случайно».

«Что же вы потеряли наэтом складе капканов?» — барышня Сургениек указала на толпу хихикающих дев.

«Немалое число крыс пробавляется салом из мышеловок».

«Так уж и быть, разоблачайтесь, хочется посмотреть, кому вы объяснитесь сначала».

«В наши дни объяснение в любви более невозможно. Изустно это смешно, в письменном виде — трусливо, по телефону — некорректно».

«Бедняга, и как же вы в таком случае обуздываете свои страсти?»

«Какие же это страсти, если их можно обуздать!»

Эпалт снял пальто и подтолкнул вперед приятеля, который все это время молчал.

«Мой друг Мартин Тюрзен».

«Из деревни?»

«Студент-экономист, — сказал Эпалт, пропуская мимо ушей вопрос с подковыркой. — Только не вздумайте играть с ним в карты. Если в школе его еще звали Никелевым Мартином, то сейчас уже давно величают Серебряным».

«Значит, ему остается сделаться Бумажным Мартином. Что ж, хотя бы в карты дуется. Я было подумала, что он из этих, из этих . . . »

«Из этих?! Да вы взгляните в его лицо», — воскликнул Эпалт.

И впрямь, в свете потолочной лампы лицо Тюрзена казалось устрашающим. Глубокие тени лежали под куполом огромного лба и монгольскими скулами. Слово черный волос, извивалось в усмешке тонкие губы. Мартин походил на апостола или аскета в «подвальной полутьме» барочных картин. Эта физиономия наконец убедила молодую хозяйку. Она пригласила друзей в комнаты.

Костюм на Тюрзене, купленный у мелкого лавочника на Мариинской улице, был не новый. Внимательный наблюдатель заметил бы, что пиджак в локтях и на спине и задняя часть брюк тщательно обработаны тушью, чайной заваркой, мыльнянкой, железной щеткой. Так или иначе,

но протертые до блеска места удалось освежить. По паркету Тюрзен ступал с опаской, на негнущихся ногах, как по льду, а здороваясь, сгибался только в бедрах, будто в петлях проворачивался, при наклоне верх туловища оставался прямым как доска.

Эпалт шел свободной и непринужденной, развинченной походкой, засунув большие пальцы за отвороты брючных карманов. И смотрелся бы вполне элегантно, не будь на нем смокинг несколько вызывающего покроя, с накладными плечиками. Голова Эпалта напоминала поставленный на острие ромб. Широкий, правильный рот со слегка отвислой нижней губой кривился в нестираемой дразнящей ухмылке, обнажая неровные зубы, среди них один золотой. Улыбка и довольно большие розовые уши — вот и все, что оставалось в памяти при взгляде на это, в общем, невыразительное лицо.

Поздоровавшись с присутствующими, они отошли в сторонку, чтобы освободиться с обстановкой.

«Зачем ты меня картежником выставил?» — пробурчал Тюрзен.

«А что я должен был сказать? Что ты не пьешь, не куришь, избегаешь женщин, занимаешься круглые сутки напролет и по воскресеньям ходишь в церковь? От тебя шарахались бы, как от прокаженного».

У квартиры Сургениеков было нечто общее со знакомым нам фасадом. Пестрые, цветастые и в бабочку, обои, лепной золоченый потолок с пухленьким, заметно облупившимся амуром, весело размахивающим на лету луком и колчаном с золотыми стрелами. Вытянутый в длину и разделенный на три части деревянными панелями зал с громадным сводчатым, овальной формы окном и выгородками уютных кабинетов по концам, где стояли диваны и лежали ковры. На стенах, обшитых полированным дубом, развешаны зимние снежные пейзажи Пурвита в ярко-желтых дубовых рамах, не попадая тускло-белому колориту картин. Красного дерева мебель с бронзовой оковкой отдаленно напоминает николаевский стиль середины девятнадцатого века. В углу раскидистая пальма. Ее остроконечные листья на длинных стеблях так и норовят угодить в глаза или испортить лелеемую прическу.

В мягком кресле под пальмой, свернувшись калачиком, подремывал узкогрудый молодой человек с жидкой красноватой шевелюрой. Его круглое, рыхлое, болезненно бледное лицо было усыпано редкими крупными веснушками. Под белесыми бровками помаргивали водянистые серые глаза с желтоватыми белками и воспаленными веками. Нос — тестообразный, как бы просевший, со вздернутым кончиком, губы — полные, надутые, склизкие, как улитки, и бескровные, как само лицо. Сидел он, безвольно сложив руки на коленях, но при этом судорожно сцепив крючковые, поросшие волосами пальцы. Весь облик этого человека выражал одновременно и слабую вялость, и какую-то липучую цепкость. Вроде щетинистого мяса, которое, как ни терзай, разрезать или раскусить невозможно. На его физиономии, как у спящего или слепого, ничего не написано, и только взглядевшись, понимаешь — он слышит и видит все.

Снова звонок в дверь; топот ног в прихожей.

«Дрыгалка! — окликнула Гризельда. — Посмотри, кто пришел».

Утопавший в кресле мухомор выпрыгнул, как чертик из табакерки, словно его пружиной подбросило. И, лениво выпрямившись, оказался на удивление жердистым. Не говоря ни слова, долговязый поспешил в переднюю, болтая длинными, как плети, руками, извиваясь пивявкой и выхляя немисливо узким станом, как у Гари Купера, и то если глядеть на экран с боковых мест. И все же в нем был какой-то лоск и элегантного покроя костюм сидел как влитой.

Через мгновение он опять возник в дверях и вяло, панибратски помахал Гризельде, будто намекая этим жестом на им одним известную тайну. Гризельда скривилась, однако встала и вышла в прихожую.

«Видал? Аtis Душелис! — прошептал Тюрзен. — Итак, наш старый школьный триумvirат опять в сборе».

«Он-то нас совсем не признает».

«Опасается конкуренции».

«Поговорим с ним позже. Нам следовало бы все-таки держаться вместе. Соперников и без того хватает».

Новоприбывшую гостью сопровождала сама госпожа Сургениек, крупная, дородная как монумент.

При появлении хозяйки все встали. Мужчины по очереди припадали к ручке — увесистой и пухлой. Гризельда что-то шепнула матери на ухо. Мадам обратила свой взор на приятелей. Дрогнули уголки губ, и широкое одуловатое лицо расплылось в улыбке, словно по воде пошли круги от брошенного в пруд камня. Но из-под век на друзей холодно смотрели выцветшие, слюдяные рыбы глаза, невольно заставляя поеживаться. От кого отпрыски Сургениеков унаследовали свой пронизывающий взгляд, стало понятно сразу.

Медленно, неспешно она обосновала на диване свои телеса и замерла в торжественной позе королевы, открывающей парламент. Пепельно-седые волосы, уложенные тяжелым узлом, как у поэтессы Аспазии, были почти одного цвета с платьем из плотного серебристого шелка, величественными складками спускавшегося вниз и всхолмьями пузырившегося на коленях; оперев о них могучие руки, она вертела в толстых пальцах усыпанный бриллиантами золотой лорнет. Тончайшая, сама по себе почти невидимая и бесконечно длинная цепочка от лорнета, в несколько рядов обмотанная вокруг морщинистой шеи, была, если не считать обручального кольца, единственным украшением госпожи Сургениек. Когда она подносила золотой лорнет к седым бровям, которые топорщились на расплывшемся лице, как усохшие кусты на залежи, блестящий шелк едва не разрывался от усилия сдержать громадную массу плоти, казалось, рукава выше локтя вот-вот треснут под напором мышц. Таким бицепсам позавидовал бы самый мощный борец. Исполненная гордого величия и неописуемой остойчивости, хозяйка дома моментами казалась и не человеком вовсе, со всеми его слабостями и влечениями, а достойным символом домашнего очага, идолом, колоссом, вокруг которого пляшут, кому приносят жертвы и кадят и кто все это принимает без малейшей благодарности, как должное, руководствуясь в своих поступках внезапной и непостижимой для окружающих прихотью. В присутствии матери даже ершистая Гризельда стушеввалась.

Гостьей, которой госпожа Сургениек самолично оказала честь, сопроводив в залу, была Ириса Майор, единственное дитя консула Никарагуа и Либерии, имевшего большую торговлю, — бледная миниатюрная шатенка в приметном дорогом наряде с необычным лохматым ожерельем и причудливой сумочкой из какого-то непонятного материала. Она находилась у той роковой черты, за которой недостаток свежести восполняют элегантностью.

С приходом обеих дам обстановка в комнате резко переменилась. На лицах засияли медовые улыбки. Перекликивания через весь зал прекратились. Только вился шепоток: спасибо, благодарю, вы позволите? не угодно ли? достопочтенная сударыня, милая барышня . . . Эпалт подсел к дамскому кружку подле хозяйки. Тюрзен застыл за креслом Майор. При виде этого лицо Душелиса, будто стянутое лаком, немного оттаяло, и он ужом скользнул к Гризельде.

Опять задребезжал звонок, на этот раз не смолкая.

«Ах, это снова Висвальд дурачится, — произнесла мадам. — Гризельдочка, Ежик, откройте».

Но в прихожей уже царила какая-то суматоха, и через мгновение в зал волилась орава юнцов — учащихся коммерческой академии со значками своей организации «Кубезелия». Каждый из них носил парчовую шапочку, массивное серебряное кольцо с эмблемой родной корпорации и, разумеется, широкую ленту через плечо, только не разноцветную, а, против обыкновения, сплошь золотую, отчего обладатели этого знака отличия прозывались златоносцы.

«Висвальдик, ты зачем шалишь!» — довольно жестко осадил его мать, но ее цепкий холодный взгляд сделался при этом невыразимо тепел и нежен. Висвальд приложился к щеке.

«Снова пил», — грустно заметила мать.

«Всего одну рюмку. Но послушай, я намерен сообщить тебе нечто немислимое: внимай и дивись: мне хочется есть».

Хозяйка оглядела присутствующих счастливым взглядом и засмеялась — от всего сердца, как над самой удачной шуткою.

«Мы ведь только тебя и ждали. Господа, дамы, прошу к столу».

Висвальд был неотразимо красив. Высокий, тонкий, но вместе с тем плечистый и стройный, как черенок кнута, изысканно эlegantный, он держался с завидной свободой и непринужденностью. Смолью отливали слегка волнистые волосы. Прямой лоб, орлиный нос, твердый, выдающийся вперед подбородок складывались в четкий, резкий, мужественный, соразмерно очерченный профиль. Розовое, дышащее холодной свежестью лицо окаймляла синеватая дымка бакенбардов, и даже это как нельзя лучше шло ему, усиливая впечатление мужественности. Типичные для Сургениеков низкие прямые брови у Висвальда сливались в одну ровную черную линию, и под ними повелительно и пылко сверкали выразительные глаза. Выдержать этот взгляд было нелегко. Девушкам Висвальд улыбался, как старым знакомым, с которыми связывают общие приятные воспоминания. Он обращался с ними фамильярно, но совсем не так, как Душелис, — с пленительной доброжелательностью, дружелюбием, как старший брат и любовник одновременно. Он был немногословен, сдержан в выражениях, обходясь по большей части жестами, кивками, белозубой улыбкой. Казалось, неудачи не про него. Там, где другой мудрил, ломал голову, волновался, бился не на жизнь, а на смерть, он просто шел и брал что хотел и как хотел, красивый, юный, богатый. В любом мужчине, который с ним сталкивался, неотвратимо вспыхивала зависть, а потом приходила мысль: не приведи Господь встретиться с таким вот у одной и той же избранницы. Что противопоставишь этому мужскому обаянию, этому спокойствию, этой несокрушимой уверенности, что его каприз — благодеяние, слова — награда, прикосновение — счастье? Эпалт отчаянно пытался нащупать, отыскать, уловить в нем хоть какой-нибудь недочет или изъян, но напрасно. Он чувствовал: никогда этот Сургениек не делается его другом; он возненавидел его с первой минуты, едва тот переступил порог этого зала, и все же Висвальд нравился ему, как никто другой, как воплощение всех тех качеств, о которых Эпалт мечтал и которых ему не доставало.

В столовой с дубовыми темными панелями и мрачными обоями было темно, как в пещере. У стены, уставленная серебром и дорогим фарфором, высилась едва ли не до потолка огромная горка. Массивный продолговатый стол, протянувшийся через всю комнату, ломился от яств. Было очевидно, что Сургениеки многое могут себе позволить. Тюрзен

обычно ужинал черным хлебом и чаем, и губы его моментально увлажнились и глаза загорелись, как у хорька, при виде красиво зарумяненной холодной индейки, нежно-розового филе, пирамиды нарезанной кружочками колбасы, паштетов, сыров, консервов, начиная с беспомощно плавающих в масле обессилевших сардин, как бы жаждущих своего избавителя, и кончая легендарным лангустом; была тут (правда, в неприятной близости к местоположению домочадцев) и вазочка, доверху наплаканная красными слезками икры.

Кажется, и кубезельцы проголодались. Сначала было слышно только позвякивание ножей и вилок о тарелки. Все усиленно поглощали еду.

Оба друга при первой же возможности незаметно посматривали на обедающих, пытались побыстрее раскусить подоплеку их взаимоотношений.

Все девушки и все юноши за столом переглядывались и перемигивались, обменивались улыбками, перешептывались, переговаривались. Не восседай во главе стола госпожа Сургениек, шальная молодежь несомненно подняла бы невероятную кутерьму.

Гризельда флиртowała со всеми напропалую, стреляла глазками то в одного, то в другого, никому не давала договорить до конца, поддевая всех на язычок, и чем язвительнее, тем лучше.

Душелис сидел тихо, понурился, но исподлобья косился на Гризельду. И она порой одаряла его мгновенным колющим взглядом, всякий раз при этом по верхней губе у нее пробежала презрительная дрожь, и, грациозным рывком откинув голову, она переключала свое внимание на других.

Все наперебой обхаживали баснословную богачку Майор, за исключением только Душелиса и, странным образом, Висвальда, отдававшего заметное предпочтение другим девушкам. Бледное лицо Майор казалось непроницаемым, некрашенные губы были плотно сжаты, глаза ледяные. Ей не привыкать к почтительному обращению. Заморив червячка, Тюрзен тоже устремил свои помыслы к Майор и, предложив ближних кушаний, отпустил несколько таких неловких, топорных комплиментов, что та вскинула голову от изумления. Но Тюрзен отнюдь не стусевался. Впившись в лицо девы сверлящим взглядом, сложив губы в мрачную ухмылку, он знай себе сыпал словами, забыв, что все это доходит до слуха Гризельды.

«Что за изящная ручка! Пальчики, как у скрипачки. Вы случаем не играете на скрипке . . .»

«На скрипке?» — встряла Гризельда. Пришла беда — отворяй ворота. «Нет, она играет на могучем басы! На вас, Мартин Тюрзен. И если вы срочно не приладите двойную суконную сурдинку, то запищите так жалобно, что мы тут лопнем со смеху».

Глаза Тюрзена вспыхнули недобрым огоньком. Он терпеть не мог насмешек.

Эпалт бросился их разнимать: «Будьте милосердны, мадемуазель Гризельда! Вы же краса этого дома, краса, а не крыса».

Воцарилась тишина.

Гризельда потеряла дар речи, она уставилась на Эпалта, не зная, то ли оскорбиться, закатить скандал, то ли обратиться все в шутку. Была не была, подумал Эпалт, и рискнул вновь:

«Помните, мы с вами уже говорили о Диком Западе? В горах Северной Америки живет могучий медведь, медведь-аристократ, шерстка у него седая, как у чернобурки, его зовут медведь гризли; как и вы, мадемуазель Гризельда, он готов растерзать каждого, кто попадетс я ему на пути».

«Видишь, наконец и ты удостоилась клички», — внезапно сказала госпожа Сургениек. Все засмеялись, разряжая напряжение. Имя Гризли запорхало над столом. Но Гризельда ни разу больше не посмотрела в сторону Эпалта.

Во всеобщем гомоне младшая сестра Гризельды — Дагне сидела тихо и смиренно. Гости обращали на нее не больше внимания, чем того требовали приличия. Пышнотелая, уже слегка расплывшаяся, она согнулась в три погибели над пустой тарелкой, поскольку ужин ей был противопоказан, чтобы не располнеть еще больше. Щеки у нее были такие румяные, что сразу было понятно — этот румянец всамделишный.

— Удивительно, как отменное здоровье может оказать человеку дурную услугу, — подумал Эпалт.

Все это было бы еще полбеды, однако непонятная флегма, робость, медлительность, сквозившие в каждом ее слове и движении, отчего она сильно проигрывала в сравнении с темпераментной сестрой, как бы окутывали все существо Дагне какой-то мутной пеленой и заставляли юношей отодвигать ее про запас, в самые последние ряды: так сказать, когда уж совсем не останется, с кем покалякать или потанцевать, Дагне Сургениек все еще будет под рукой.

Рядом с Дагне сидели Имант и его домашний учитель, встрепанный, пухлощекий, но бледный, испуганного вида юноша — глаза за стеклами очков беспрестанно моргали, он то и дело морщился и так дергал при этом бровями, шевелил скальпом и двигал ушами, словно страдал нервным тиком. У Иманта жилетной цепочки больше не было.

Кубезельцы, оккупировавшие дальний угол стола, — подальше от хозяйки дома, стали перешептываться и что-то бубукать прожег собой. В этом доме, где всякие прозвища в ходу, самое гордое было у Висвальда — «Принц», а то и «Принц Уэльский». Оно то и дело произносилось вслух.

«Мама, дай нам немножко спирту», — внезапно сказал он.

«Не мели ерунды, на сегодня хватит».

«Мама, но это ведь в качестве лекарства от простуды. Иначе я схвачу насморк».

«Ну так возьми, в буфете слева».

«Подай мне, Даг», — обратился Висвальд к сестре. Несмотря на застенчивость, брата она не послушалась.

«Что, одна рюмка? Мама!» — обиженно воскликнул Висвальд.

«На лекарство достаточно».

«А они? — он указал на товарищей, которые, опустив головы, сосредоточенно двигали челюстями. — Они что, должны смотреть, как я пью один?»

«Разве они тоже больны?»

«Имка, вот тебе два лата, сбегай за водкой».

«Сам сбегай! Ишь какой. За два лата на ночь глядя», — отрубил Имант. Младший брат со старшим время от времени пребывали в состоянии войны.

«Слушай, Задохлик, звякни в «Кубезелию»», — сказал Висвальд смазливому юноше, который трепался и трещал безумолку.

«Там ведь кроме дежурного никого нет, кто ж тебе принесет?»

«Жабье, сходи ты», — повернулся он к другому парню, толстячку, чья фигура свидетельствовала о том, что он является обладателем не французской фамилии, а обыкновенной клички. Тот лишь потупился. «Но, мама, это же скандал! Приличной водки в доме не достать!! Что же, мне самому прикажете слетать?»

Нет, самому Висвальду идти за водкой не пришлось. Мать наконец

сжалилась, дала четвертинку спирта. Жабье выскочил над нею поколдовать. Некоторое время спустя, зажмурив узенькие глазки, умиротворенно улыбаясь, он объявился с полштофкой, неся ее перед собой почти-тительно, как облатку. Общество оживилось.

«Не унывай, Янка, ты директор банка!» — перебивая друг друга, выкрикивали кубезельцы.

«Налетай, ребятки! — командовал Висвальд. — Эй, вы там! Идите сюда, нальем глоток!» — крикнул он Эпалту и Тюрзену, добродушно, но с оскорбительным пренебрежением.

Подавив в себе досаду и с минуту помедлив, они подошли к честной компании, поздоровались, выпили. Обедующие встали от стола, разбились на группки. У кого-то в руках мелькнула колода карт, в зале зазвучал фокстрот. Только теперь оба друга обменялись рукопожатием с Душелисом, который торчал возле парней, обступивших бутылку. Прохладная, влажная, вялая ладонь.

«Привет, старина!»

«Привет!»

«Отойдем в сторонку», — сказал Эпалт. Троица незаметно прошла в соседнюю комнату, в кабинет Сургениека. Сам хозяин со своих заседаний и переговоров по сделкам обычно возвращался домой очень поздно. На роскошном письменном столе, заваленном стопками книг, горела лампа под зеленым абажуром, в просторном помещении царил мягкий полумрак. Поперек комнаты стояло несколько столов поменьше, на них тоже громоздились книги, газетные подшивки, скоросшиватели, вороха бумаг. Великолепные книжные шкафы вдоль стен были уставлены словарями. Возле камина мягкие кресла распахнули свои кожаные объятия. Все трое молча присели.

«Душелис, — начал Эпалт едва слышно. — Ты еще помнишь школу? Из года в год сидя за одной партой, мы торжественно обещали стоять друг за друга и клялись не изменять этому правилу и после окончания школы».

«Помню».

«Ты обычно говорил: чтобы пробиться, не нужно много друзей, достаточно двух-трех, но верных».

«Гм, одной дорогой за одной коровой, так, что ли?»

«Мы здесь не для того, чтобы тебе мешать», — вставил Тюрзен.

«Но и не для того, чтобы помогать», — ухмыльнулся Душелис.

«Почему бы нет? А ты сможешь нам. Ведь больше чем . . . — Эпалт воспроизвел характерный жест Гризельды, — тебе не видать».

Душелис встрепенулся:

«А чего ж ты за столом выдрючивался?»

«Смехотура. Разве ты не видишь: если мы хотим сюда приходить, надо ладить с Гризельдой, а не то она выставит тебя из дому в два счета, как медный пятак, хотя бы десять почтенных отцов и сто матерей слали тебе приглашения. Как давно ты тут ошиваешься?»

«С прошлой осени».

«Гм, осваиваешь ремесло уже целый год, а по-прежнему криво пишешь. Что-то тут не в порядке. Почему ты не выбрал ну ту . . . вторую? Ведь там верняк».

Душелис терзался внутренней борьбой. У него наболело, и невооруженным глазом было видно, как недоставало ему друга, перед кем излить душу, но подозрения взяли верх:

«Ага, вторую? Чтобы освободить тебе место?»

«Душелис, покамест я вне игры и отнюдь не собираюсь перебегать тебе дорогу, но Гризельда . . . она так дурно с тобой обращается».

«Как с собакой . . . Придет час, она еще повилеет передо мной хвостом», — прошипел Душелис со злобной яростью, но тотчас опомнился, и движения его снова стали вихлястыми, как у паяца.

«Сами видите, какая тут обстановка. Дом вечно полон гостей, старая хозяйка постоянно на месте. Свободы действий никакой. Эх, знал я однажды двух сестричек — только я через парадный ход, мать выметывается через черный. Вот это жизнь была!»

«Да, — сказал Эпалт с умным видом. — Пока мы женщину чем-нибудь не взволновали, не поразили, хоть бы довели до слез, оскорбили, пока мы не пробудили в ней каких-то сильных чувств, которые заставят ее неотступно думать о нас, всё одно, будь то зависть, гнев, сожаление, по мне даже презрение, на быстрый успех шансы слабые. Всякое чувство легче обратить в любовь, но не равнодушие. А с родительским надзором ничего не попишешь. Так и останешься рядовым в строю и будешь служить годами, даже без надежды на выслугу лет».

«Уж презрение я-то заслужил», — с горечью заметил Душелис.

«Ну так доведи его до крайней степени, а потом внезапно обрати против нее самой».

«Чепуха, Эпалт, — возразил Тюрзен. — Все это кривлянье ни к чему. На женщину безотказно действует самая примитивная лесть. Пой на все лады, что она красива, и тверди, что влюблен в нее. Вот и весь сказ».

«И тебя сочтут неотесанным мужланом», — сказал Эпалт.

«Может, и неотесанным, но зато симпатичным, а это важнее».

«Но наши девушки любят совсем не симпатичных паинек, они мечтают о партнере дерзком и рисковом», — снова заспорил Эпалт.

«Пустяжи. Простое обещание жениться перевешивает все опасности и приключения».

«Ты можешь пообещать жениться горничной, но не, скажем, Майор».

«Майор? Почему бы нет? Если большинство думает так же, как ты, значит от хорошего воспитания никто до сих пор не сделал ей предложение, а кто смел, тот и съел. К тому же лучше досконально отработать один метод, чем вечно делать попытку за попыткой, изобретая всевозможные трюки. Лучший метод тот, что самый скорый; как прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками, так обещание жениться — между мужчиной и женщиной».

«Твой универсальный метод все же не ко всем подходит, Тюрзен».

«Пускай. Буду бить по всей линии; что останется, то останется. На мою долю хватит!»

В дверях показались Висвальд, Задохлик, Имант и еще несколько человек. Заметив слушателей, Эпалт заговорил громче:

«Это, дружище, речи жалкого кустаря в делах любви».

«Не кустаря, а практика», — отрезал Тюрзен.

«Практикующий донжуан не имеет права на ошибку всего-навсего потому, что иначе он рискует утратить свой престиж, а для настоящего влюбленного промах — это конец всему».

«Правильно», — произнес Душелис, погруженный в собственные размышления.

«Поэтому для мужчины каждая неудача — страшный удар, — продолжал Эпалт. — Знаете ли вы, что делит мужчин на удачливых и неудачников? Успех первой влюбленности. Только при условии первого везения обретается опаснейшее искусство донжуана — поступать как ему заблагорассудится. Один провал человек с сильным характером, может, и способен еще перенести, но после второго юноша неизбежно пополняет собой ряды скромных, тихих недотеп. И только длительная

инициатива женщины, а то и самопожертвование с ее стороны могут хоть как-то вернуть его к жизни».

«Или женская дружба», — прибавил Тюрзен.

«Никогда. Женская дружба — это пенсия по инвалидности».

«А что такое мужская дружба по отношению к женщине?» — спросил Висвальд.

«Нравственное чувство. Но всякая нравственность проистекает из не-мощи».

«А не совести?» — переспросил Висвальд.

«Совесть — такая же страсть, как и все прочие. Кто поддается страстям, тот слаб. Кто управляет своими страстями, тот силен и потому безнравствен».

Висвальд устремил задумчивый взор через загроможденные книгами столы в дальний угол, где горела зеленая лампа.

«И тот, кто пренебрегает бедной девушкой, чтобы жениться на богатой, тоже силен?» — спросил он почти шепотом.

«Богатство такое же качество, как все остальные. Можно ли упрекнуть человека в том, что ему больше нравится ром, чем шерри? Одни ценят лишь красивых женщин, другие предпочитают умных, третьи любят богатых. Все это отнюдь не от совести зависит, это дело вкуса».

«Даже при том, что красота, как известно, проходит, а богатство остается?»

«Конечно. Редко, но встречаются все же люди, готовые променять целую бутылку водки на рюмку коньяку».

На какое-то мгновение повисла раздумчивая тишина.

Эпалт замолк, торжественный, как оракул после экстаза прорицания. Он был доволен собой донельзя. Ему сегодня отчаянно везло. Он прилепил прозвище Гризельде и заговорил этой хищнице зубы. Он заставил задуматься заносчивого Висвальда. Даже избалованный Имка, ни во что не ставивший самого старшего брата, слушался его, Эпалта. В этом доме, в этом кругу его положение отныне было прочно.

«Зарядим аккумуляторы, — прервал тишину Висвальд. — Поищем спиртяшки».

Все гурьбой вернулись в столовую. Эпалт шел последним. У него за спиной что-то прошелестело. Он обернулся. В углу, за стопками книг, никем прежде не замеченная, сидела светловолосая девушка. Она оторвалась наконец от работы и встала. Зеленая настольная лампа призрачным светом, снизу, осветила нежное, как у ребенка, личико, на котором отражалось переходящее в испуг презрение. Широко раскрытые глаза, темные, глубокие и грозные, как ружейные дула, были наставлены прямо на Эпалта, словно на редкого, но опасного зверя.

Эпалт вдруг покраснел, покраснел, как первоклассник. Какая досада! Пульс застучал в висках. Краснеть! Какой позор!

Девушка отвернулась. Мелькнули белые щеки и шея, она вновь склонилась над книгами. Губы Эпалта невольно приоткрылись, он набрал в легкие побольше воздуха, собираясь что-то возразить, в чем-то оправдаться, но опамятовался, круто повернулся на каблуках и вышел прочь из кабинета.

То была первая встреча Павла Эпалта с Николиной Буйвид.

Не дам я фее объезжать моего жеребчика.
Янис Меденис

Широко разинув пасть, дикая львица уставилась Эпалту прямо в лицо. Растянутые в кровожадном оскале волосатые губы обнажали десны и громадные клыки. Глаза чудовища светились металлическим блеском, взлохмаченная грива придавала ему еще более устрашающий вид. Перед этой бестией Эпалт чувствовал себя маленьким, жалким и беспомощным. Он то протягивал к злобной морде лайково-перчаточные пальцы, то, вздрогнув, отнимал их. Наконец с отчаянной наглостью сунул сургениекской львице в пасть всю руку и дернул за бронзовое кольцо. Прозвеневший в квартире звонок показался ему громче и бессмысленнее пожарной сирены. А стоило ли приходиться? — мелькнула мысль. Кто была та девушка в кабинете, много ли она слышала? Если конец разговора, который слышали все, то это ничего, а если начало, когда они беседовали втроем? . . . Тогда, вероятно, он в последний раз стоит перед этой высокой светлой полированной дверью. На всякий случай явился сюда пораньше, чтобы не было свидетелей, если что-нибудь произойдет.

Ему открыл домашний учитель Шетурина; глядя на Эпалта, он моргал, дергал бровями и не говорил ни слова. У Эпалта сделалось совсем мутно на душе.

«Я, наверное, раньше всех», — выдавил он наконец из себя.

«Оно верно, — улыбнулся Шетурина, и у него будто язык развязался: — Из барышень дома только Дагне, а Гризельда будет через полчас, она еще на занятиях в высшей школе».

Эпалт облегченно вздохнул. Разделся.

«Что поделяете ваш воспитанник?» — спросил он, придавая своему голосу самый дружеский и теплый оттенок, на который только был способен.

«Ушел в кино. Его нелегко усадить за книги».

«Он одевается прямо как взрослый. Разве школьники не должны носить форму?»

«Форма для него сущее наказание, страшнее не придумаешь. Не успеет прийти из школы, как тотчас переодевается».

«И строит из себя лощеного господина».

«Да, в нашем доме эlegantность в цене», — произнес Шетурина и тут же спохватился, не сболтнул ли чего лишнего. Сам он, однако, имел вид далеко не изысканный. Мягкий черный костюм, зауженные коротковатые брюки и такой свободный, старомодный воротничок, что за него можно было просунуть еще одну сорочку. Узел галстука сполз — ниже не бывает.

«И каковы успехи эlegantного господина в учебе?»

«Если бы он тратил на учебу столько же сил, сколько на изобретение всяких трюков и фокусов по части списывания, подсказок и разного пакостничанья, то, вероятно, стал бы первым учеником в классе. Его школьный пиджак — это просто фрак волшебника. В рукавах резиновые петельки и пружинки, которые подают наружу и втягивают назад записочки, карманы все двойные, каждая манжета и всякий отворот — это целый механизм сигнализации, исписана каждая пуговица».

«И вы это допускаете?»

«М-да, — учитель замылся, словно опять боялся ляпнуть лишнее. — Домашний учитель обязан ладить не только с родителями своего питомца, но и с ним самим. К тому же мальчик так много возится со «шпаргал-

ками», что волей-неволей в конце концов что-то и выучивает. Голова у него светлая, и все эти проказы всего лишь своего рода спорт . . . Я кликну мадемуазель Дагне».

«Ничего. Я подожду. Не стоит тревожить ее. Она-то, по-видимому, не учится?»

«Нет, помогает матери и лучше всего чувствует себя в Качкарах». «Где?»

«В Качкарах, на хуторе Сургениеков в Априкской волости».

Беседа, они миновали безлюдный салон и остановились возле дверей сургениевского кабинета. Эпалт, кивнув в ту сторону, хотел было кое о чем осведомиться как бы невзначай, но странное волнение перехватило горло, и вопрос вышел более чем неестественным:

«Скажите, в доме у Сургениеков живут еще какие-нибудь родственники или сотрудники?»

К удивлению Эпалта, вежливое и любезное выражение лица Шетурия мгновенно сменилось неподвижной маской. В глазах светилось подозрение.

«Не знаю, — сухо промолвил он. — Простите, я должен идти».

Из передней тихо, как призрак, вышел Имант в новом, с иголкии полосатом костюме самого модного покроя.

«Как только речь заходит о Николине, господину Шетурию вечно некогда», — сказал он с улыбкой соглядатая.

«Что хорошего было в кино?» — поспешно спросил Шетурий.

«Николина уже здесь? Отец сегодня вернется домой не позже девяти».

«Не знаю».

«Вы не знаете? А я подумал было, что вы собираетесь открыть ей дверь и потому замешкались в салоне».

Шетурий стиснул зубы.

«Имант, ступайте к себе, у вас еще много заданий на сегодня».

Имант приоткрыл двери кабинета:

«Добрый вечер! Как дела?»

«Спасибо, — послышался тихий, вежливый голосок. — Как в школе?»

«Эх, наш чертов Цыпа заметил, что у меня формулы на ногтях выписаны, и вlepил мне жирную пару».

«Как же так? Теперь у вас уже в первом триместре будут целых три двойки».

«Ерунда! Три булавочных укола в кладбищенские врата! Все образуется. Вам не мешает, что мы с господином Шетурием тут прогуливаемся?»

Николина едва слышно засмеялась. Шетурий опрометью выскочил из гостиной.

«Я бы не советовал вам смотреть Короля Гангстеров в Парфеноне, — прикрывая двери кабинета, сказал Имант Эпалту. — Жутко мусорный фильм. Этот король форменный придурок, парней своих распустил, без конца прохлаждается с девками, треплет языком, когда надо идти на дело, накачивается алкоголем и уж совсем без надобности действует на нервы префекту полиции. Что же это за гангстер, который не может с полицией ужиться?»

Он достал легкий плетеный кожаный портсигар — последний крик моды — и предложил Эпалту сигарету. Они закурили.

«А в Америке иногда поступают еще умнее: сначала добиваются поста префекта, а уж потом становятся гангстерами», — сказал Эпалт.

«Это да. Но пока дослужишься до такого места, впору состариться. А из старца какой гангстер. Может, ему больше и не захочется».

Замолчали. Эпалт сделал вид, что размышляет над услышанным. «Вы почувствовали, как я вошел?» — спросил Имант.

«Нет».

«Разумеется. Смотрите». Он вынул из кармана связку ключей, висевших на брелке, еще недавно служившем цепочкой от часов.

«Тут все ключи от нашей квартиры и ворот тоже. Мои драгоценные предки мне их не доверяют. А это ключи от нашей школы. А вот универсальная отмычка от всех классных помещений и кабинетов. Я велел изготовить ее по отпечатку на куске мыла. Слесарь кочевряжился, не хотел браться. Пришлось заплатить тройную цену».

«Не начитались ли вы Уоллеса, друг мой?»

«Кое-что читал, но . . . мелкое жульничество меня, в сущности, не привлекает. Отмычками я не интересуюсь, это так, между прочим. Если хочешь предпринять что-нибудь всерьез, другая хватка нужна. — Он заколебался, продолжать или нет. — Только никому не рассказывайте, о чем мы тут говорили. Вы, наверное, думаете, что я просто хвастаюсь, как тот король гангстеров. Ничуть. Мне кажется, вы производите впечатление порядочного человека, с вами можно потолковать. Но вообще мне пора. Бедным ученикам приходится ладить и с домашними учителями».

Отойдя на некоторое расстояние, он спросил:

«Скажите, брюки не стали мне снова коротки? Наши портные ни черта не петрят».

«Нет, — авторитетно, как знаток, заявил Эпалт. — Носки еще не видны, но . . . »

«Но?» — обеспокоенно спросил Имант.

«В рукавах вашего пиджака нет петель для пуговиц в том месте, где обшлага, и, я бы сказал, ворот высоковат, белый воротничок почти совсем не виден. В остальном костюме действительно хорош. Скажите, кто такая Николина?» На этот раз вопрос прозвучал как бы невзначай.

«Спросите у Шетурина, — парировал Имант, широко улыбаясь. — Она прелесть». И исчез.

До сих пор все шло как по маслу. Очевидно, ничто дурное ему не грозит. Имант ищет его дружбы. Отлично. Он ее получит. Маленький джентльмен-сыщик лучше других знает, что происходит в доме. Но кто же в самом деле эта Николина? В памяти всплывает только мягкий овал светлого лица и темные суровые глаза, которые в тот вечер вогнали его в краску, и это его, считающего себя самым ироничным скептиком и самым скептическим ироником на свете. Как он был жалок, однако! Надо ее увидеть!

Осторожно нажав на ручку дверей, ведущих в кабинет, Эпалт стал отворять их тихо-тихо, глядя в щелку, расширяющуюся со стороны дверных петель. — Вот стопка книг и скоросшивателей, залитых зеленым светом лампы. Над ними полоска белого лба с зачесанными назад, слегка вьющимися светлыми волосами, напоминающими липовый цвет. Ну, просто войти и спросить о чем-нибудь. Но едва Эпалт успел подумать, о чем бы ему спросить, как прихожую запленили раскаты сочного голоса Гризельды Сургениек. Поспешно прикрыв двери, Эпалт бухнулся в кресло под пальмой.

«Снимите с меня ботинки! Живо! — распорядилась Гризельда. — Да побыстрее, а то вы неуклюжи, как слон в посудной лавке! Где моя сумочка? Сумочку мне!»

«Странно, вы никогда ничего не можете найти», — раздался боязливый, придушенный голос Душелиса.

«Ничего не могу найти?! Я нашла даже такого соню, как вы!»

«Вот ваша сумочка».

«Вот сумочка!! Разве так обращаются к даме? Надо говорить: пожалуйста! Немедленно скажите: пожалуйста! Ну! Не хотите? Ну пого . . . »

«Пожалуйста. Пожалуйста».

«Вы раздобыли мне лекции и переписали вчерашний конспект или нет?»

«Пожалуйста, вон он».

«Да. А что это за парочка, с которой вы так мило беседовали, поджидая меня с занятий?»

«Это мой друг, у него авто . . . »

«Понятно, шофэр. А девушка небось прислуга?»

«Он инженер, а его невеста — балерина из Оперы. К тому же я с дамой даже не заговаривал».

«Глупец, это она с вами не говорила!»

Эпалт был поражен. Гризли, которая постоянно в открытую насмеялась над Душелисом, все же ревновала его! Что это, только лишь самолюбие? — мол, ее раб не смеет служить никому другому. Кто знает, может положение Душелиса не столь уж безнадежное, да бедный Дрыгалка не знает, где искать спасения.

«Мне идет новая шляпка?» — опять принялась за свое Гризли.

«Прелесть. Может, вот тут, за ушком, зачесать волосы поаккуратнее?»

«Глупости! Там как раз должен торчать пышный локон. Не судите о вещах, в которых вы ничего не смыслите».

«Это я-то не понимаю? По крайней мере в шляпах очень даже разбираюсь. Разве это не я завел у вас в доме моду на черные дамские шляпы с широкими полями?»

«С широкими полями? На самом деле вы кепки из моды вывели, вот что: все заметили, как они омерзительно на вас смотрятся. Повесьте мое пальто. Да не туда, говорят вам. Шляпку тоже. Так, теперь можете поцеловать мне руку. Фу, обслюнявили! Когда вы наконец научитесь целовать руку даме?»

«Учитель по классу рояля, у которого занимается мой кузен, — вмешался в диалог Эпалт, — говорит, что, играя только легкие вещи, по-настоящему техникой не овладеешь. Ограничиваясь целованьем рук, тоже мало чему научишься».

«Среди многих дурных качеств, вам присущих, есть одно хуже некуда, — отрубила Гризельда, — вы постоянно опекаете других. Смотрите, как бы вас однажды не допекло. Тогда никто вам не поможет».

«Когда некому будет подать мне руку, я попрошу чьей-нибудь руки», — сказал Эпалт, одаряя ее самой ослепительной из всех своих улыбок.

Вскоре объявилась вся прошлая компания: стайка девиц, кубезельцы. Не хватало только Висвальда и маленького толстячка Жабье. Да и Тюрзен припозднился. По правде, Эпалт немножко беспокоился за него. Когда в предыдущий вечер Гризельда пригласила Эпалта заходить еще, ему пришлось выдержать томительную-вопросительную паузу, прежде чем она соизволила добавить:

«С вашим другом, как его, жестяным или оловянным Мартином».

Тюрзен действительно чудно смотрелся на паркете, который с непривычки все еще казался ему скользким, — он расхаживал по салону таким растопырей, прямо держа спину и не наклоняя головы, ни дать ни взять моряк на палубе во время качки. При поклонах он, не сгибая позвоночник, отбрасывал назад нижнюю часть туловища, как марионетка, которую с силой дернули за ниточку и она пошла лягаться. А когда,

здороваясь за руку, обходил девиц, впечатление было такое, что он каждую из них клюет.

Покончив с ритуалом приветствия, Тюрзен прямоком направился к Майору и уже не отходил от нее ни на шаг. Она держала себя с ним до обидного высокомерно, но по выражению тюрзеновского лица сказать этого было нельзя, наоборот, можно было подумать, что его осыпают лестными комплиментами: он умел не замечать мелкие каверзы и уколы. Прочь не гнали, и это главное. В итоге подобная настырность со стороны чужака стала раздражать кубезельцев, полагавших, что имеют гораздо большие или во всяком случае более давние права на богачку Майора. За ужином они устроили между собой маленькое совещание.

Самым расторопным был среди них хорошо сложенный, смазливый юноша, носивший совершенно неподходящее прозвище — Задохлик. Его свежее, гладкое, цвета алого яблочка лицо имело форму идеального овала. Тонкие, почти миниатюрные черты, миндалевидные светло-карие глаза; маленький округлый рот с более толстой верхней губой, полукружьем накрывавшей тонкую нижнюю, всегда источал улыбку, но только двух видов, мгновенно менявшихся в зависимости от адресата: угодливую приторно-вежливую или всезнающе ироническую. Догадйся кто укрыть его темные кудрявые волосы платочком, вышла бы прехорошенькая девушка, — сама деревенская невинность или озорница, смотря по улыбке. Языкастый, юркий, проворный, дамский угодник, все же он старался держать себя солидно, как подобает настоящему господину, и очень страдал, когда его называли Задохликом. Улыбчивое лицо на какое-то мгновение застывало, это был промельк, не больше, но всякий раз повторявшийся. Это он приклеил Висвальду, своему крестному в «Кубезелии», прозвище «Принц Узельский». Принц взял реванш, прилепив крестнику кличку Задохлик. Но Задохлик был тем не менее благодарен Принцу за место бухгалтера в банке Сургениека, за кубезельскую золотую ленту через плечо, за допуск в избранный круг сургениекских знакомых, за приглашения на взморье, в деревню, по-семейному, за столики на вечеринках и попойки в кабаках. Планы Задохлика простирались еще дальше. Как бы это ни было унижительно, капризам и прихотям Висвальда следовало потакать с великой охотой и даже с изъяслениями восторга. Выступая в качестве верного оруженосца Висвальда, он незаметно сделался вторым, маленьким Висвальдом, «Висвальдом из жилетного кармашка», как обзывали его кубезельцы старших семестров, на дух не выносившие Задохлика.

Задохлик перенял у Висвальда его барские повадки, скупую речь, презрительные реплики и ухмылку и особую манеру употребления специальных кубезельских выражений и жестов: между собой кубезельцы обходились минимальным лексиконом и всего лишь несколькими характерными кивками и намеками, и при этом прекрасно понимали друг друга, как все посвященные.

Висвальд ходил, на английский манер, с зонтиком, такой же, но подешвле появился вскоре у Задохлика. Висвальд сшил себе экстравагантный костюм в светло-серую и черную клетку, крупную, в два пальца шириной, и через месяц в точно таком же, но только из более дешевой ткани, расхаживал Задохлик. Висвальд стал носить светлые двубортные жилеты и белые гетры и, сунув руки в карманы брюк со штрипками, огромными шагами, ни на кого не глядя, мерял бесконечные коридоры коммерческой академии, и следом за ним, стараясь не отстать и копируя его повадку, вышагивал точно такой же жилетистый и гетристый джентльмен, только на полголовы ниже, и гетры его были не белые

полотняные, а из обыкновенного серого фетра, тщательно выбеленного мелом.

В «Кубезелии», одной из старейших юношеских организаций, состояла заметная часть нашей золотой молодежи. Их менее состоятельным товарищам, самим зарабатывавшим себе на хлеб, нелегко было подражать господским манерам. Но — принадлежность к сливкам общества обязывает: кубезелец и господин — безусловные синонимы, и они барахтались как могли.

Поначалу все это весьма развлекало и тешило Висвальда, он и Задохлик всюду были вместе, но потом прискучило, и теперь его оруженосцем стал толстячок Жабье. Конечно, Задохлика не оттолкнули напрочь — он по-прежнему бывал у Сургениеков, где его ценили за услужливость и обходительность и считали своим человеком. Однако в этот новый период чувства Задохлика к своему крестному и наставнику странно переменялись. Дух деда-бахвала и спесивца-отца в Висвальде выкристаллизовался, пожалуй, в чисто снобистское, но почему-то, как правило, неотразимое и обаятельное небрежение всем и вся. Участник пирушек, отменный фехтовальщик и танцор, предмет воздыханий девиц и зависти друзей, уважаемый и почитаемый даже врагами, — он казался идеалом студента старого времени, являемого нам романами и фильмами, где благородных кровей бурши Гейдельберга и Иены предстают во всем своем блеске и великолепии. Его, несравненного и бесподобного, обожал, нет, боготворил маленький смазливый кубезельский первачок фукс Задохлик — восхищался им и любил всеми фибрами своей уязвленной, истерзанной души.

Но постепенно к восхищению стала подмешиваться непонятная горечь. Этот Висвальд был чересчур уж недосыгаем. А вот и сам Задохлик отличился: спел несколько не слыханных прежде куплетов популярной песенки, выложил свежий анекдотец, блеснул на званом вечере с участием дам, — глянь, и к нему стали относиться с известным почтением. И тут, как назло, является Висвальд, снисходительно похлопывает его по плечу, называет при всех Задохликом, и снова он только Задохлик и ничего больше. Он стал выдумывать разные приключения, слава богу, фантазии не занимать и язык подвешен. Многие верили его байкам, восторгались и даже упивались этими выдумками, но стоило нагрязнуть Висвальду, как Задохлик терялся, запутывался во лжи, как в горохе, потел, краснел и не мог совладать с дыханием. Висвальд разоблачал его вымыслы походя, одной-единственной улыбочкой, мгновенной усмешкой. И однажды Задохлик понял, что ненавидит своего патрона и кумира, ненавидит жестоко, изо всех сил.

Теперь он как чумы бежал всего, что могло напоминать о Висвальде. Со злостью оспаривал его взгляды и мнения, покамест, правда, в отсутствие автора, и ловил на лету и распространял все дурное, что говорилось о закадычном приятеле и хоть как-то могло того уязвить. Задохлик потерял покой, сделался подозрительным и настороженным, но теперь, нападая на Висвальда, уже нимало не стеснялся в выражениях — таким способом он как бы отстаивал свою личную независимость и самостоятельность.

Хотя в доме Сургениеков он был завсегдатаем, решение, которую из двух барышень предпочесть, им пока не было принято — куда спешить, коли счастье все равно под боком.

Очень ему нравилась Гризельда, да отпугивал ее бойкий нрав и острый язычок, — довольно ему было насмешек от Висвальда. Он всё приглядывался и примерялся, когда на горизонте внезапно всплыл Атис Душеллис, сын мелкого акционера сургениевского банка, и неожиданно стал

приударять за Гризельдой, и чем дальше, тем больше, проявляя недюжинное упорство. Оставалась Дагне. Задохлик, можно сказать, чувствовал себя едва ли не обязанным влюбиться в это сонное создание, девушку из хлебосольного и славящегося своей благотворительностью семейства, ну хотя бы потому, что никто другой до этого еще не додумался. Но как упустишь из виду Ирису Майор, которая не в пример богаче, элегантнее, красивее и . . . старше, а значит, кое в чем уже знает толк, словом, без пяти минут дама. Что же украшает господина до мозга костей, как не дама с головы до пят в роли его дражайшей половины?

Сначала все было уверовали в то, что роман намечается между Ирисой и Висвальдом. Так уж примитивно отбивать у дружка невесту Задохлик не стал бы, но сегодня он ставил себя достаточно высоко, чтобы подобрать без раздумий наследство, выпавшее из рук самого Принца. В общем, пока Задохлик колебался между долгом и наслаждением, как гроб Магомета между двумя магнитами, откуда ни возьмись объявился Тюрзен и буквально сразил всех сногшибательным напором и деловитой хваткой. Теперь-то уж вынужден был на что-то решиться и Задохлик, или — употребим наконец его настоящее, более приличное и очень даже недурственное имя — Курт Спрукулис.

Предстояло отвоевать Майор. Все равно, пусть бы ее в конце концов прибрал к рукам Принц, но пришельцу со стороны она не должна была достаться ни в коем разе. Что-что, а круговую поруку кубезельцы блюли свято: за своих стояли горой. И кубезельскую науку, как вести себя в свете, Курт Спрукулис освоил досконально. Соответствующий пункт касательно дам гласил: любезничай без продыху! Дам ни на секунду нельзя было оставлять одних, их надлежало непрерывно развлекать, то бишь травить анекдоты и рассказывать смешные и странные случаи из жизни, один черт, своей или чужой. А самое главное: говорить, говорить без умолку. Неважно — что, лишь бы дама видела, что вокруг нее увиваются. Если же сумеешь ненароком обогатить пустую болтовню нравоучительным содержанием, к собственной выгоде и к вящей пользе родного содружества, тем лучше. Прославлять при всяком удобном случае свою корпорацию и выставлять кубезельцев солью земли, элитой общества и вообще латышской родовой знатью, — тут никаких ограничений не было. Впрочем, таков закон любого товарищества: тужиться всем, дабы выпячивать достоинства каждого.

После ужина, под одобрительные взгляды друзей, Спрукулис взял быка за рога. Недавно он стал заниматься спортом, легкой атлетикой: главным образом потому, что Висвальд этого не делал, — хотя бы в чем-то его превзойти! Рассказы о спортивных подвигах стали излюбленной темой в устах Спрукулиса. Он подсел к Ирисе, устроившись спиной к Тюрзену, и нарочито громко, так, чтобы слышали все, начал свое повествование:

«Знаете, какая беда стряслась со мной в прошлое воскресенье? О господи! Вы не поверите. Меня так шандарахнуло! Ах, какая невезуха! Вот уж точно несчастный денек, проклятие какое-то!»

«Что такое, что такое?» — слышались заинтригованные возгласы.

«Значит, так. Я, понимаете, спортсмен. Тут все, наверное, знают, что мы, кубезельцы, занимаемся всем подряд: футболом, фехтованием, стрельбой, баскетом, хоккеем, плаванием, танцами, а я еще и отдельно легкой атлетикой — в своем роде специалист по бегу на средние дистанции. И вот в минувшее воскресенье, заметьте, в прошлое воскресенье, последнее воскресенье сезона, я делаю, так это шутки ради, заявку на побитие рекордика на 800 метров. Прежний у нас стоит бог знает с каких времен, как родственник покойного. Ну, под вечер отправляемся на ста-

дион Эль-Эс-Бэ. Прохладно, но безветренно. Чувствую себя хорошо. Свеженький. Бодрый. Красивый . . . нет, это самое — гибкий, я хотел сказать. Ну, говорит начальник спортсоюза, что будет? Попытка не пытка, отвечаю. Ладно. Созываем ребят, судей, хронометристов, стартеров. На соседней дорожке через каждые двести метров расставляем первоклассных спринтеров, чтобы бежали, увлекая меня за собой, — как того французского рекордсмена Ладумегу. Стартер — хлоп! Начали! Дую. Через двести метров у первого ведущего глаза из орбит — жмяк навзничь. На губах пена. Тянет меня следующий. Я — мимо. Вступает третий. Я — в том же духе. Наконец последний отрезок! На стадионе гвалт. Давай, нажми, наподдай! Наяривай, Спрукулис, летучий студент! Жарь, бегущая тень! Рекорд в кармане! Рекорд в кармане! Побит на семь с половиной секунд! И тут в один миг — трах! Сосуд в носу лопается, я теряю сознание и грохаюсь на землю.

«Ой!» — вырвалось у девиц.

«В пяти метрах от финиша! Пять метров!! Пять метров!!! Начальник спортсоюза рвет на себе волосы, рыдает, зверем рычит, ругается, орет, чертыхается, поносит всех на свете. Секретарь — бах головой об стенку. Правление напилось до положения риз . . . Жаль людей-то, я вам скажу. Да что поделаешь — невезуха!»

«В следующей воскресенья повторишь забег», — утешает кто-то из кубезельцев.

«Повторишь?! Сезон-то окончен!»

«В следующем сезоне».

«В следующем? Как же, жди. Да и где взять время на тренировки, чтобы быть в форме? Учиться-то тоже надо».

«От спорта вообще мало толку, — сказал Тюрзен, дабы ослабить впечатление от рассказа. — В практической жизни он бесполезен».

«Как это — бесполезен? — возмутился Спрукулис. — А тренированное тело?»

«К чему вам тренированное тело, если вы и так здоровы? За вашу красоту никто гроша ломаного не даст. Женщины — да, когда они за собой ухаживают и делают массаж, — это я понимаю. Для них это нередкое дело жизни».

«Ну так послушайте, что значит тренированное тело, — сказал Спрукулис. — Шел я вчера утром по бульвару Калпака. Едет трам. Вылезает элегантная молодая дама с тремя чернобурками и ребенком. Красивое дитя. Девочка. Ребенок вырывается и убегает. И напрямиком через улицу. А тут из-за угла грузовик. И прямо на нее!»

«Ой!» — в ужасе вскрикнула Ириса.

«Гляжу, дело дрянь. Раз — и к ней! Бац — кидаюсь рыбкай, ребенка под себя и плюх — вжимаюсь в асфальт перед самым авто . . . Шофер, парень-хват, вмиг смекнул что к чему и проехал по-над нами. А мы между колес лежим, целы, как ягодки. Встаю, отряхиваюсь. Извольте, мадам, вот ваш ребенок. Смотрите за ним лучше. Не всякий раз подвернется ловкий прохожий. Женщина бледна, как тень луны. Плачет. Запинается. Познакомиться хочет . . .»

«С таким вот замурзанным?» — громко спрашивает Тюрзен.

«Но, говорю, простите. Спешу. У меня встреча. Целую ручку. Красивая дама. Стать — королевская. Мирна Лой».

«И она, что же, вас не остановила? Не пыталась узнать адрес?» — интересуется Ириса.

«Спрашивала, спрашивала. Но мне не до того было. Меня ребята ждали в кафе «Тимбукту». Сговорились в картишки перекинуться».

«Сразу видно, порядочный мальчик. Спортсмен, джентльмен! Госпо-

дин Тюрзен, а что бы вы сделали на месте господина Спрукулиса? Поберегла бы свой костюм?» — спросила Гризли, провоцируя на пикировку. «Я поберег бы свое остроумие», — ответил Тюрзен совершенно серьезно.

«Что вы сейчас и делаете, — сказал Спрукулис. — Бережливость штука хорошая. Я бы посоветовал вам по образцу бережливых стран устраивать недели сбора отходов, отходов чужого остроумия . . . путем переработки вы извлечете из них . . . »

«Нечто такое, что вы охотно у меня купите».

«Для того, чтобы угостить этим вас».

«Спасибо. Я уже сыт по горло вашими новеллами ужасов».

«Разумеется. Кое для кого и вторичные остроты неподъемны. Но я обеспечу вас облегченным вариантом с надписью: переработано и адаптировано для детей и юношества».

«А я обеспечу вас книжонкой „Что случилось с хвастуном Янкой, который плел небылицы“».

Тюрзен был не мастак отпускать шуточки. Его оружием была оглобля, все одно — против дубины или рапиры. Спрукулис набычился. Кубезельцы повскакали с мест. Меж ними пронесся шепоток:

«Человек не нашего круга! Дикарь! Что с такого возьмешь? Его даже на дуэль не вызовешь!»

Услышав это, обиделись и два других дикаря.

«Что эти ленточные себе позволяют, — довольно громко произнес Душелис, обращаясь к Эпалту; на слове «ленточные» он сделал ударение, так, чтобы другая сторона хорошо поняла его второй, терминологический смысл. — Нацепили банты и воображают себя аристократами».

«Наивная романтика», — усмехнувшись, поддакнул Эпалт.

Но невинное словечко «наивный» было самой страшной хулою, какую только могли себе представить кубезельцы, лица их вмиг посерьезнели — дело нешуточное, задета честь самой «Кубезелии». Они уже пораскрывали рты, чтобы выговорить слова, которые отрезали бы пути ко всякому примирению, как в зале грохнул фокстрот: одна из девушек, пытаясь спасти положение, поставила на патефон пластинку.

Гризельда, наблюдая за перепалкой, и пальцем не пошевелила, чтобы ее унять, ибо в гомоне и сумятице чувствовала себя как рыба в воде. Она ничего не имела против небольшой потасовки. Под занавес можно будет поднять на смех обе стороны. Гризельда подошла к патефону и сняла иглу. Тюрзен и Спрукулис, дикари и ленточные, все еще стояли друг против друга, и Бог знает, чем бы кончилась эта стычка, не пояись в дверях прихожей сам директор банка Давид Ионатан Сургениек.

Говорят, супруги после долгих лет совместной жизни начинают походить друг на друга, если не взглядами и характером, то внешностью и фигурой безусловно. Сургениек был так же монументален — велик и тяжеловесен, как и мадам Сургениек. Гости разбежались, как блошки, перед банкиром образовался широкий коридор. Слегка помахав присутствующим рукой в знак приветствия, он тяжелой, неспешной, свинцовой поступью прошел через всю комнату и плюхнулся на диван, почти целиком закрыв его своим массивным телом. Если тучного человека принято сравнивать с бочкой, то банкир напоминал габаритами гигантские бассейны на колесах, которые герцоги эпохи Ренессанса возили с собой в триумфальные поездки, те самые бассейны, где преспокойно плескались тритоны и русалки, стыли на водной глади райские острова, качались прогулочные гондолы и вели сражения галеры.

От широкого, бесформенного желтого лица банкира, желтизной не уступавшего лицу супруги, и всего его необъятного тела исходила

уютная, пышущая добродушием истома. Он устало склонил голову набок, толстые мясистые веки как бы сами собой закрылись и, сомкнувшись с такими же плотными подглазными мешками, превратились в два шишковатых жировика наподобие каштанов. Ленивый и громадный, он нежил-ся на диване миролюбиво, как сытый бегемот, который, несмотря на колоссальную тушу свою, — члены как колоды, лоб с наковальню, пасть с овинную печь, каждый зуб величиной с репу, — все же питается одними водорослями и растениями, и если только какой-нибудь бесстыдник не потревожит его послеобеденный сон, являет собой самое добродушное и милое существо из всех гигантов на свете.

Все молчали. Казалось, банкир задремал, так как короткие вздохи и выдохи становились все реже и все слабее вздымали бочкотарную грудь. Но тут жирные короткие, как обрубки, пальцы зашевелились, касаясь диванной обивки, будто клавиатуры рояля, и ленивая добродушная улыбка расплылась по отечному лицу. Дагне, тихонько подсев к отцу, взяла его за руку — тяжелую, мягкую, — со стороны ладони блеснуло вдавленное глубоко-глубоко в мякоть пальца обручальное кольцо.

«Ты очень устал, да, папа?»

«Я? Что ты сказала? Устал? Нет, нет, продолжайте веселиться, дети мои. Где Висвальд?»

«Нету дома».

«В каком часу он пришел вчера вечером?»

«Около . . . около . . .»

«С утра, как обычно?»

«Но сегодня он обещал прийти пораньше».

«Гм. Обещал . . .»

Через минуту Сургениек, попросившись все тем же величественным жестом, простоял к себе в кабинет. Гости вновь собрались в кружок около Майор. Однако на сей раз компанию расстроил не кто иной, как сама Гризельда, уведя Спрукулиса в противоположный угол зала. Разве можно было допустить, чтобы гостье уделялось больше внимания, чем хозяйке дома? Злые взгляды Спрукулиса, как вспышки молнии, то и дело освещали серьезную физиономию Тюрзена, пристроившегося за креслом Ирисы; между тем Никелевый Мартин был невозмутим.

Незадолго до полуночи все сошлись в столовой на карточную партию. Одна из дам послала Эпалта за своей сумочкой. В зальном полумраке слышно было, как за дверьми кабинета стрекочет пишущая машинка.

— Работать за полночь! Бедная девушка, — подумал Эпалт. — Может, старого банкира там уже нет, заглянуть бы . . .

Пока он колебался в нерешительности, из передней неслышно вошли в зал Висвальд и Жабье. Последний был мертвецки пьян; чтобы сохранить равновесие, он прислонился к дверному косяку. Висвальд еще держался на ногах. Движения его были лихорадочные, на лице написано смятение; время от времени он стискивал челюсти, играя желваками на скулах. Не заметив Эпалта, он прислушался к стуку пишущей машинки, подбежал к дверям кабинета, схватился за ручку, но тут же отдернул ладонь как ужаленный: на пороге столовой стояла Майор.

Может быть, упрек, презрение, боль отразились на ее лице? Ничуть не бывало, оно оставалось спокойным и невозмутимым, слегка усталым, как всегда, разве что чуточку бледнее обычного, но это, наверное, просто так казалось в притушенном свете.

Молча посмотрев на Висвальда, она вернулась в столовую и, помедлив, встала рядом с Тюрзеном.

Висвальд схватил за плечо засыпающего на ходу Жабье и поволок его назад в прихожую, словно это был не человек, а куль. У Жабье в карманах жалобно звякнули бутылки. Хлопнула входная дверь.

В кабинете едва слышно трещала пишущая машинка.

3

Кто дрыг-прыг серый?
Скок-поскок птах смелый.
Петерис Эрманис

Все следующие дни Тюрзен с упорством педанта гнул свою линию, и было в нем нечто такое, что не позволяло отвергнуть его с порога, как воздыхателя без имени, положения в обществе — тютю, лишенного какого бы то ни было шика, этого первого и последнего оружия охотника за богатыми невестами. Всякий раз Майор долго не могла прийти в себя от удивления при виде того, с каким спокойствием, не мешкая, но и не роя землю носом, а будто выполняя предписанный долг, Тюрзен самонадеянно утверждался за ее креслом или присаживался рядышком и невозмутимо, но, правда, с заметным напряжением, вел светскую беседу, щедро пересыпанную комплиментами. Прimitивные до бесконечности, они могли показаться верхом наивности и даже дурости, если бы не изрекались человеком с тяжелым, свинцовым, можно сказать, меланхолическим взглядом и серо-стальным лицом аскета, чей тонкий, словно вспоротый ножом рот кривился с миною серьезной и горькой.

Он охотно рассуждал об экономике, тут у него были неплохие познания и имелись кое-какие идеи, столь реальные и практичные, что их смысл доходил и до Майор. Каждое слово Тюрзена, каждое его движение было воплощением осознанной, чересчур осознанной, необходимости. Этот подход Майор воспринимала с обидой; хотя у нее отбоя не было от поклонников, до сих пор никто не домогался ее так откровенно, но именно это и очаровывало. Блесни в его глазах мимолетная надежда, сомнение, вождение, дрогни губы в предвкушающей улыбке, он бы вмиг сделался посмешищем, но нет, Тюрзен завораживал ее, как василиск, как питон райскую птичку. И случилось невероятное: избалованная кавалерами Майор терпеливо его выслушивала, отвечала и даже улыбалась ему.

В сущности, вся жизнь Тюрзена была ареной непрерывной борьбы за невозможное. Душелис и Эпалт впервые повстречались с ним в первом классе гимназии.

Шел урок английского языка, учитель спрашивал заданное на дом стихотворение. В классе в это тусклое осеннее утро царил сукка. Мальчики с сонным видом ковырялись в партах, дремали, с хрустом разевали рты. Порой кто-нибудь что-нибудь скажет да послышатся шаги вызванного к доске ученика, монотонно отбарабанит он надоевшие стишки и снова всех одолевает зевота. «Мартин Тюрзен!» — произнес учитель; новое имя — Мартин пропустил недели две занятий. И хотя шагов никто не услышал, через мгновение Тюрзен возник на кафедре: обутый в постолы, он не шел, а скользил беззвучно, как тень. Такого пешедрала в столичной школе еще не видывали, он стоял навтыжку, в поношенном костюмчике, из которого давно вырос, — светло-серое, как овечья спинка, домотканое сукно было в тысячах мелких трещинок. В Мартине уже тогда угадывались настойчивость и хладнокровие. Худое, бледное лицо свидетельствовало о недоедании, лохмы на шее и вокруг

(продолжение на стр. 34)



Бойцы формирующихся латышских добровольческих батальонов. 1915 год. Автор снимка неизвестен

«Latvijas laiks» — так называется выставка, посвященная 150-летию фотографии. По-русски это можно было бы перевести «Время и Латвия». А самое потрясающее на этой выставке — портреты незнакомых людей.

Фотографы обычно не спрашивают имени и фамилии. Фотографы вглядываются в человеческие лица, и человек в этот миг становится вечным. Он во веки веков остается таким, каким стоял перед фотоаппаратом.

Разглядывая эти старинные фотографии и эти забытые сегодня человеческие лица, мы можем чувствовать себя подобно богам. Нам кажется, что мы знаем все, что произойдет в последующие годы вслед за тем моментом, когда эти люди гордо позировали фотографу.

Вот парни, которые скоро уйдут на первую мировую войну. У всех цветы на фуражках. Они спокойно ожидают грядущую войну, предстоящие революции, вторую мировую, ждут свою свободу и смерть, и перед часом ухода в вечность им суждено испытать все то, что суждено испытать каждому нормальному человеку двадцатого столетия.

Разглядывая эти старинные фотографии с лицами незнакомых людей, неожиданно начинаешь сомневаться: а сможем ли и мы вот так гордо и независимо предстать перед фотографом, как закованный в цепи боец революции 1905 года?

Андрис ЯКУБАН



● Автор снимка неизвестен. 1910-е годы. ● Учащийся Энгурской мореходной школы Карлис Зинбергс в кругу семьи. Приблизительно 1911 год. Автор снимка неизвестен. ● Фото Яниса Озолса. Конец 1930-х годов. ● Земгальские крестьяне. 1880 год. Фото Я. Голверса



У братской могилы воинов 8-го стрелкового полка. 1916 год. Автор снимка неизвестен



● Фото Роберта Иохансона. Конец 1930-х годов. ● Жена писателя Аугуста Деглава. Конец 1920-х годов. Фото Вилиса Ридзиньекса. ● Милда Брехман-Штенгель в роли Саломеи. 1930-е годы. Фото Вилиса Ридзиньекса. ● Фото Роберта Иохансона. 1920-е годы



Учитель Балодис в Цесисской тюрьме. Осужден на вечную каторгу. 1906 г. Автор снимка неизвестен



Скрипач в поселке Лузня. Начало 1980-х годов. Фото Вайры Страутнице

ушей — о безденежье, когда несколько сантимов на стрижку и то не наскрести. Наперекор бедности, которой дышала каждая петелька, каждый шовчик, Тюрзен держался достойно, с какой-то гордостью, как чумазый цыганенок, который и в рубище умеет казаться маленьким маркизом.

Откашлявшись, он стал читать стихотворение необычным, хрипловатым голосом, бесцветно и равнодушно, как автомат. В классе навострили уши, раздалась сдавленные смешки: Тюрзен говорил с непонятым, немислимым акцентом. Но могло ли быть иначе, если, готовясь к поступлению в гимназию, он занимался английским самостоятельно, без преподавателя, по книжке? Англичанин тоже не смог сдержаться, и тут прорвало шлюзы, класс грохнул со смеху, обрушился водопад. Тюрзен побагровел, но ни один мускул на его лице не дрогнул. Он продолжал чеканить стихи спокойно, без запинки, пережидая, правда, взрывы воркующего смеха, хотя его чудной резкий голос перекрывал любой шум. Но когда мальчик сел на место, его била мелкая дрожь, по щекам катились крупные капли пота.

Сильная воля оказалась основной чертой в характере Тюрзена. Чтобы добиться льготной платы за обучение, нужны были хорошие отметки. Он был «сельчанин», а это слово в те времена означало почти то же, что и «богач», и сельчанам скидка предоставлялась неохотно. Но к цели надо идти не сворачивая и, следовательно, подтрунивание соучеников заслуживает внимания не больше, чем внезапный ливень, застигший по дороге в школу.

На Эпалта все это произвело сильное впечатление, в насмешках он не участвовал, и, видно, поэтому Тюрзен с ним подружился, сел за одну парту. Рядом очутился Душелис. Эта троица была неразлучна до самого выпуска.

Сын батрака из Малиены, Тюрзен в тот год стал круглым сиротой. Был у него один-единственный родственник, дядя со стороны отца, тоже батрак, старый человек, от которого поддержки ждать не приходилось. Привыкнув сызмальства зарабатывать на пропитание, Тюрзен летом занимался в пастухи или батрачонки, но зимою, ютясь в какой-нибудь дыре, ходил в школу. Месяцами не имел он горячей пищи, обходясь хлебом, чаем и губчатым, похожим на цемент, сыром. Не было денег на обувь. Не было учебников, он одолжался у товарищей или брал в библиотеке. В классе он прижился сразу. Выглядел старше своих лет, не бузил, не заигрывался; без ясной пользы пальцем не пошевелит, как бы бережет силы. Все же колкости и подковырки его задевали, на них отвечал грубостью. Если считал нужным, лез в драку, не пасуя и перед явно превосходящим противником, знал — в мальчишеской буче не изуродуют, а пара-тройка тумачков его не пугала, в жизни всякого не виделся. К тому же он был сделан из материала крепкого, как недубленая кожа, и сам не задумываясь пускал в ход жестокие и запрещенные приемы, брыкался, кусался, царапался, щекотал, ему были известны наперечет все болезненные точки — где ущипнуть, где надавить, куда ткнуть, как вывернуть сустав и растянуть сухожилие, на каких костях меньше мяса и оттого больнее удар. Если его обхватывали спереди, он кривым грязным пальцем ловко цеплял соперника за губу и оттягивал ему голову. Если брали за горло, он хватал за мизинцы душивших рук и так их выламывал, что противник с ревом разжимал объятия. Стоило зажать ему голову, как он большим пальцем больно тыкал соперника в ямку под ухом или надавливал на чувствительную подколенную жилу. В конце концов его перестали задирать.

При всей своей серьезности он никогда не казался грустным или

подавленным. Не тужил, в трудных обстоятельствах не унывал и уверял, что жизнь бурная, полная приключений, когда не знаешь, чем позавтракаешь и где приткнешься на ночь, лучшая подготовка к предстоящим взрослым годам. Каждой клеточкой он излучал уверенность в том, что выбьется в люди непременно. В конце концов мальчишки его зауважали, даже стали ему втихую завидовать.

От друзей Тюрзен ничего не таил, запросто приглашал к себе в гости, куда-нибудь на чердак, с нависающими над головой стропилами и слуховым окном, зимой он там безбожно мерз, а в солнечную погоду парился от жары. Через неделю Тюрзен, могло статься, уже обитал в сыром подвале, запыленные окна которого только на четверть возвышались над землей. В другой раз его можно было видеть на Кливерсале, в ветхой дощатой будке, жильцом у сторожа дровяного склада, подчас он снимал угол в провонявших насквозь и грозящих обвалиться каменных трущобах Старой Риги, на улице Торня, в комнатухах без окон, с прогнившим полом и вековым селитровым налетом на стенах.

Не скрывал он и своих не вполне обычных источников дохода, которыми пользовался потому, что летних заработков не хватало даже до Рождества.

В ту пору в Риге, якобы для изыскания средств на благотворительные и культурные цели, был открыт ряд игорных домов — лото-клубов. Посещать их несовершеннолетним, по тогдашним меркам, значит, до 16 лет, не разрешалось, но кто же станет обращать внимание на такие пустяки? Школьной формы тогда еще не ввели, и всякий, кто пожелает, мог испытать судьбу. Тюрзен являлся в клуб каждый вечер, как на работу, к десяти часам, и бочком прокрадывался в прокуренный, в сизых клубах дыма, игровой зал. Ни дать ни взять профессиональный игрок, спокойный и невозмутимый, размышлял он над лотошными таблицами, как офицер генштаба, склонившийся над картой, а чуть повезет, тотчас вставал и отправлялся восвояси. Парень с характером.

Возле адского котла азарта всегда толчется странный народец, умеющий обращать дьявольскую улыбку фортуны в ежедневный, хотя и скудный паек. Все это люди обойденные, отверженные, но притом каждый вывернут наизнанку по-своему, и нигде не встретишь большего разнообразия типов, как в толпе отбросов общества, изнуренных, высосанных жизнью, настороженных, взявших в плотное кольцо карточные столы официальных игорных домов. За рулеткою их нет, бывшие неудачи лишили веры в легкий и быстрый успех, а тяжкие годы страданий приучили к минимальному риску: махнув рукой на сложные системы, выкачавшие из кармана последние дукаты, они наловчились выманывать у судьбы гроши. Единственное искусство, которым они владеют в совершенстве, это оставить игру после первого же, пускай и ничтожного, везения. Только цепь жестоких провалов и длительное прозябание в нищете могут научить сему труднейшему искусству — отказу от надежды, которая есть самое человеческое из всех человеческих качеств. Бог знает, как поднаторел в этом мастерстве Тюрзен; конечно, и его жизнь была трудна, но другим для этого требовались годы и годы.

Лото-клубы вскоре прикрыли, однако Тюрзен нашел себе более доходное занятие: в первое десятилетие Латвийского государства на рижских улицах что ни день собирали пожертвования. В жестяные банки — в пользу бедных, на борьбу с болезнями, культурные программы, для разных организаций — словом, на всякие цели. У пожарных лопнул брандспойт — пожертвования; некий дамский комитет решил открыть курсы рукоделия — опять собирают пожертвования. В те времена люди

еще не шарахались от ходивших по улицам сборщиков, как от прокаженных, все мы тогда знавали нужду.

Обычно в сборщики зазывали газетные объявления. Многие считали это занятие почетным; вообще в этом деле было много романтики. Парочки целыми днями могли бродить по паркам, в укромных местах, мальчишки бесплатно катались на трамваях, можно было заговорить с любым человеком и получить вежливый ответ, у некоторых прохожих вся грудь была в бумажных медальках, дававшихся тем, кто сделал пожертвование, а у кого этих опознавательных знаков еще не было, обиженно их выпрашивал. Нечто вроде карнавала на северный манер.

Пожалуй, только Тюрзен работал в одиночку. Начинал он спозаранку, в бюро возвращался затемно. Картонный щиток, на который крепились значки для раздачи, всегда пуст, сам сборщик — без задних ног, а в банке позвякивает всего несколько сантимов.

Жестянки пломбировали бечевками, с большими красными печатями, прорезь для денег зажималась туго натянутой пружиной; что-либо извлечь из банки было непросто. К тому же в ходу была бумажная мелочь — и рубли, и копейки. Прежде чем просунуть в щель, их складывали в несколько раз, внутри жестянки они распрямлялись. Тюрзен, конечно, старался, чтобы деньги передавали ему, он изображал, что опускает их в прорезь, а сам зажимал в кулаке. Но жертвователи страдают нехорошей привычкой — желают сделать свой вклад в прямом смысле слова собственноручно... Тюрзен нагревал жестянку, распуская перевязь, отодвигал вязальными спицами защелку и затем особыми крючками из прочной стальной проволоки выковыривал денежки наружу. Не раз его постигала неудача — печати трескались, перетянутая защелка сгибалась или ломалась. Но Тюрзен и тут знал средство. Ослабив наплечную ленту и прижимая локтем висящую на ней жестянку, он отправлялся на какой-нибудь перекресток, где ходил трамвай и стоял страж порядка. Устремляясь следом за трамваем, он перед самым вагоном нарочито спотыкался и ронял банку, под вагонными колесами она превращалась в крошево. Тут он с несчастным и перепуганным видом просил блюстителя порядка составить протокол и затем понуро брел, иногда в сопровождении того же блюстителя, в бюро по сбору пожертвований, где старательного и подавленного случившимся мальчика жалели и утешали как могли.

Однажды трое друзей сидели у Тюрзена на чердаке и смотрели, как он по всем правилам ловкачества опорожняет свою жестянку. Эпалт спросил, не чувствует ли он при этом угрызений совести, как-никак похищает дары милосердия.

«Угрызений?» — Мартин был поражен. Такое ему и в голову не приходило.

«Сегодня мы собирали средства для нуждающихся детей. Я просто облегчаю учреждениям работу — пожертвования напрямую попадают к тем, кому они предназначены».

Эпалт не нашелся, что ответить.

В конце концов все-таки стряслась беда — однажды трамвай смял только днище банки, а крышка со сломанной защелкой осталась цела. Деятельный сборщик, который так самоотверженно служил любой-всякой организации, мог благодарить Бога и снисходительных комитетских дам — его пожурили, ограничились пустыми угрозами. Но сборщицкой карьере пришел конец.

Вышло так, что в тот год докеры рижского порта проводили одну забастовку за другой. Пароходные компании не знали, где взять людей, и Тюрзен был далеко не единственным школяром, кто таскал на своем

горбу мешки и ящики. У него появились знакомые, которые разведывали, где лежит самый выгодный груз. Для них не составляло труда, как бы случайно споткнувшись, выронить на землю ящик с южными сухофруктами, причем так удачно, что тара разламывалась, несмотря ни на какие железные обручи и проволочные крепления. Несколько недель Тюрзен питался одним инжиром, курагой или изюмом, угощал и друзей, которые не могли надивиться изысканным лакомствам. У Тюрзена, словно у матерого грузчика, всегда имелась под рукой заостренная металлическая трубочка с резиновым шлангом, вдетым в подкладку пальто. Воткнешь такую трубочку, скажем, в мешок с сахарным песком — и за подкладку под давлением туго набитого мешка быстро потечет белая струйка. У каждого ремесла свои секреты — все и не выразишь...

Но, подвизаясь в порту грузчиком, приходилось пропускать школу, к тому же для тяжелого физического труда у него еще кишка была тонка. Тюрзен высох, как волба, глаза ввалились, и без того тонкий нос стал еще тоньше и заострился, как серп. Пришлось поменять специальность — перейти на карты: очко, шестьдесят шесть, покер и другие комбинационные игры, которые только-только обретали тогда популярность, и, конечно, латышское золитэ. Он старался присоединиться к шпилерам на грошовой ставке. Поначалу не везло, должок рос, отдавать было не с чего. Но снова выручила настырность. Спустя несколько месяцев нужная сноровка была приобретена. Играя, он не распался, не вопил благим матом, не отпускал соленые шуточки, на срывы не сетовал, а восседал за столом неподвижно, как китаеза, когда же подводили черту, подсчеты всегда почему-то были в его пользу. Со временем в компаниях картежников его просто возненавидели, ибо, ухватив маленький куш, он под любым предлогом мгновенно ретировался, и жаждавшие прищучить его партнеры оставались с носом. Поговаривали, что он передергивает, но не пойман — не вор.

Ночное бдение карточного игрока не из легких. Оно похищает больше, чем сон. Кто не замечал, какими веселыми и свежими садятся эти люди за ломберный столик и как всего через полчаса лица их становятся вишнево-красными или известково-белыми, лоб наморщен, в глазах страх, голос осип. Отнюдь не с голодухи, а за карточным столом приобрел Тюрзен аскетическую заостренность черт лица и такую бледную шершавость щек цвета серых простынь, что многие думали, будто он не умывается. Он-таки сделался «Никелевым Мартином», зато отметки в табелях успеваемости покатались вниз.

В последний школьный год его единственный родственник отдал Богу душу, оставив в наследство несколько сот латов. Только теперь Тюрзен смог позволить себе первые ботинки, ярко-желтые, как плавательные перепонки утенка. Больше того, он открыл текущий счет в банке и, с умыслом не попросив льготы за последние полгода обучения, гордо расплатился чеком. В школьной канцелярии чек не приняли, послали плательщика за деньгами, но Тюрзен обратился к директору и так упирался и артачился, пока не добился своего, став в глазах товарищей героем.

По окончании школы он принялся за изучение экономики и поиски места. Без связей, без покровителя и, наконец, сбережений подыскать что-нибудь приличное очень нелегко. Как рядовой печально известной армии безработных времен демократии он очутился в каком-то министерстве, стал получать тридцать семь с половиной латов в месяц и бесплатный суп по линии социального обеспечения. Попав на студенческую скамью, стал обдумывать, в какую бы организацию ему вступить, чтобы заручиться прочной поддержкой на предмет дальнейшей карьеры.

В крупные, старые студенческие корпорации не попасть, а в мелких, новоявленных не было давно окончивших вуз старших членов — филистров, которые могли бы помочь в трудоустройстве.

Были, конечно, и другие пути наверх. Самый удобный и скорый — жениться на богатой. Однако любое предприятие требует первоначального распорядительного капитала. Тюрзен его не имел. Он долго пытался проникнуть в круг состоятельных людей, но напрасно. Наконец с помощью Эпалта это ему удалось. Великий момент настал, игра пошла по крупному. Ему, кто, нищенствуя, привык довольствоваться малым, предстояло сорвать банк. Ни минуты не колеблясь выбрал он самую ценную девушку. Других не замечал. Ожидай его поражение, все равно это был бы шаг вперед. Человек, флиртовавший с миллионершей Ирисой Майор, уж чего-нибудь да стоит. Вот и банкир Сургениек, переговорив с Тюрзеном, сказал, что у парня практический ум и светлая голова, а Сургениек как-никак старший член «Кубезелии», его слово значит больше, чем хула какого-то там Задохлика. Тюрзен шел по самому правильному пути, и тут случилось несчастье.

Гризли невзлюбила Тюрзена с самой первой минуты, потому что Эпалт ввел его в общество Сургениеков без ее соизволения, и потому также, что новичок, не обращая никакого внимания на хозяйку, мгновенно приклеился к Майор. Чтобы обрести вес и значение в глазах дам, отнюдь не обязательно нравиться им всем, достаточно одной. Поняв это, Тюрзен действовал наверняка — он преследовал только одну избранницу, но если хочешь быть принятым в доме, нельзя совсем уж пренебрегать хозяйкой. Об этом Никелевый Мартин в своем рвении как-то позабыл. Тактичному поведению в обществе и светским манерам ни в лотоклубах, ни на разгрузке судов, как известно, не обучают.

В последнее время Гризли не задевала Тюрзена, вроде примирилась с его присутствием. Никому и в голову не приходило, что она только и ждет повода для расправы. И удобный случай представился.

Как-то на очередном вечере Тюрзен отделился от слонявшихся по комнатам гостей, чтобы побыть одному. Светские рауты все еще требовали от него полной концентрации всех сил; хотелось передохнуть. Полагая, что он один в комнате, Тюрзен преспокойно стал разминаться, вихлять задом, почесываться; одолели розовые мечты о будущем, он забылся и стал сладострастно ковырять в носу, орудуя, как багром, кривым указательным пальцем.

В задумчивой позе застыл он перед снежным ландшафтом Пурвита: вздернув голову, одной рукой подбоченясь, другой, высоко отставив локоть, держал себя за нос.

От острого взгляда Гризли не ускользнула эта поза, она скорехонько созвала подружек, тихонько подвела всю стайку к широким двустворчатым дверям и бульканущим, почти дрожащим от радости голосом окликнула:

«Граф Нос де Сопляй, простите, что мы потревожили вас за столь приятным занятием».

«Граф Нос де Сопляй!» — прыснули девушки, а кубезельцы — те просто покатались со смеху. Наконец-то нашлось подходящее прозвище для этого типа.

Тюрзен отдернул руку, словно это был не нос, а раскаленный утюг. Лицо его окрасилось в такой алый закатный цвет, что белки глаз заблестели, как у негра, белыми мышами забегали в клетках впалых глазниц. Его взгляд тотчас напоролся на Майор — она потешалась вместе со всеми, ее привядшие губы скривились в ужасной ухмылке. Все очарование облика Тюрзена исчезло. Заберись он теперь хоть на петуха Петров-

ской церкви, Ириса уже будет смотреть на него сверху вниз, с той не поддающейся описанию безжалостностью и надменным презрением, что проистекают из ее богатства и общественного положения. Отряхнет его, как прах от своих ног, этого жалкого невоспитанного оборвыша, обманом затесавшегося среди чистой публики. Она устыдилась самой себя. Ах! пусть только попробует приблизиться. Понемногу и Тюрзен понял, что к чему.

Граф Нос де Сопляй — восклицаньями слетало со всех уст; звучный титул кувыркался на нежных, крашенных и некрашенных губках, прорывался сквозь пленительные строчки маленьких белых зубов, готовый вспорхнуть, дрожал на кончике проворного язычка. Тюрзен все еще стоял молча, не шелохнувшись. Он как-то странно съежился, сгорбился, заполз в раковину, как испуганная улитка. Сначала пропала из виду шея, потом запястья втянулись глубоко в рукава. Губы сжались в струнку так плотно, что совсем исчезли с лица. Без всякой видимой причины на выпуклый лоб упала прядь волос. И крупная капля пота медленно скатилась по щеке, оставляя за собой белесый след.

«Граф потеет, граф потеет!» — закричал Задохлик, шалея от счастья.

Тюрзен нашарил взглядом Душелиса, которому не раз приходилось выступать в дурацком колпаке. Лицо Душелиса светилось злым торжеством. Оно как бы говорило: отныне мы два сапога пара. У Гризельды будет новый шут.

Нет, этого Тюрзен стерпеть не мог, не в последнюю очередь из-за Майора. Внезапно он выпрямился во весь рост. Больше ему в этом доме делать нечего. Лицо его вновь привычно посерело, но что-то изменилось. За каких-нибудь три минуты произошла разительная перемена: вся усталость бессонных ночей, проведенных в лото-клубах и за карточным столом, проступила на этом внезапно состарившемся лице. От монгольских скул на изможденные ввалившиеся щеки легли черные треугольные тени. Глубоко посаженные глаза пылали, как у приговоренного шпиона, но свет их был тусклым, как расплавленный свинец. Невозмутимо, с обычным своим достоинством он подошел к Гризельде.

«К сожалению, обстоятельства вынуждают меня уйти сегодня пораньше . . . » потому-то и потому-то. И, отвесив деревянный, как в театре марионеток, поклон, степенно удалился в прихожую. Что-то в его скованной походке заставляло предполагать, что он уходит навсегда.

Смешки оборвались. Хлопнула парадная дверь . . . Тюрзен держался молодцом. Эпалт протрел рукой по лицу и повернулся к Гризельде, усмехаясь своей дразнящей, неопределенной усмешкой. Гризельда показала ему язык.

Продолжение следует



Латышский поэт Петерс Бруверис родился в 1957 году в Риге. Окончил отделение культпросветработников Латвийской государственной консерватории им. Я. Витолса. Работает литературным консультантом в газете «Латвияс яунатне».

Издal книгу стихов «Черный дрозд, алая вишня» (1987). Переводил азербайджанский и крымско-татарский фольклор, русскую (Г. Айги), литовскую (К. Плятлис, С. Йонаускас), азербайджанскую (В. Самедоглы), австрийскую (Г. Тракль), турецкую (Н. Хикмет, О. Рифат) поэзию. Стихи П. Брувериса переводились на русский, литовский, алтайский языки.

ПТИЧЬИ КРИКИ, РАКОВИНЫ, ЯНТАРНЫЕ ЧЕРЕПА . . .

Перевел Дмитрий КУДРЯ

ПРОЩАНИЕ С СЕМБОЙ

Посвящается исчезнувшим балтийским народностям

ПОСЛЕДНИЙ ГОЛЯДСКИЙ ВОИН

Мгла, мгла, густая мгла кругом и заросли,
и ветвие хлещет в лицо, под босыми
пятами жутко зыбится топь;
каждый куст — тетиву натянувший мертвец,
каждая прорва — словно пропасти безымянной
сосущее око;

горе мне, мгла, вечностью цепенеющая в зеницах,
горе мне, коварная мать Мглы,
горе мне, Перконс, за твоими лодыжками
тянутся нити цвета свернувшейся крови,
в сукрутинах
души моих заколотых братьев;

мати, в горле моем хрипят баюни твои,
я позабыл коней, которым неведом крик брани,
дев позабыл, что встречают нежной усладой;

мати, зарослям этим нет конца, это блед дыхания тленности,
прутья кривые секут иссохшие руки мои,
тщетно брение месят ступни одиноких ног, тошно
чавкает смерть;

черным вороном кружит тень моего отца,
мечется в криче над мглой и гнилыми осинами лывы;

о, эти травы седые округ,
как волосы вайделотов взывающих,
петли их путают ноги, —

НЕМОТА ПОЛНИТ РОТ СЛЕПОТА ЛИПНЕТ К ГЛАЗАМ

кто там глазится, кто там прячется,
во тьме исчезая, стонет-мечется? —
мерещится — с пушкайтисами в руках,
с волынками под мышкой,
размытые лики . . .

сивер несет снег, лед идет на трясины,
студа вгрызается в кости
(стонут березы),
над болотом разволакивая мглу,
красной головой коня всплывает Солнце;

вместе со мглой мы ускользаем прочь
прочь — в земли забвения,
прочь, смеркая, истаивая
в зеркалах грядущего,
отзываясь необъяснимо
в дуплах дубов;

наша песня
возвратится в шелест берез,
в плач ливней,
смолкнет шепот наших свирелей
в сухих тростниках,
мгла укроет нас и не отдаст,
мы больше не будем с вами, —

и только в самые промозглые ночи,
когда земля станет непролазна окрест,
я взвою — как удар меча
жгучей болью в ваших крестцах.

* * *

Корнелиусу Платялису

Лунного света прилив над озером;
жаба плюхнула, качнув шаткий мосток;
в лугах заливных на том берегу
очерк игрений мнится мгле; во прибрежной осоке
кокле серебряноструная в руках заметного едва-едва
Певца; слышишь ли —

как засохший тростник, звеня,
доносит сюда шепот ятвяжских жен?
как козодоями плачущими

перекликаются дети ятвяжские нерожденные?
как воин ятвяжский последний, святой свирепости полный,
копье швыряет накрест в свою промозглую тень?

и пахучая душит в цвету черемуха,
и до смерти резок кречета клеток,
и хвостатыми звездами над зеркалами вод
промелькнули, сгорая, ятвяжских мест имена . . .

лунного света отлив; скользкий
ослизлый мосток, затаившийся, ничего не говорящий;
нет струн на кокле в осоке, словно она —
илом забитая теплая лодка
нет весел,
гребцов нет,
рассвету не быть.

* * *

Все чаще, уже каждую вторую ночь, они проблескивают сквозь черные стекла снов, вглядываясь в меня, пивяки их слизистых зрачков вожделеют всосать меня, вовлечь в свой устрашающе немой сонм, втянуть в рот небытия, где зубов утесы прозрачные и ветер дыхания от тщетных усилий во тьме над вершинами.

Их пальцы касаются изъеденных ржавчиной наконечников копий, их взгляды скользят по трем Катехизисам, рябь пробегает по их губам, шепчущим *as rowirps as rowirps* сквозь их покинутые, ветрами опустошенные сердца проносятся, роняя беззвучно белые брызги, души героев, скрываясь в ладони Перкунса.

В предрассветных часах руки тяну в сторону Ромове, меж пальцев сыпется дюнный песок, с ним вперемешку — желуди, птичьи крики, раковины, янтарные черепа.

НА БЕРЕГАХ ПРИСЕМБЬЯ

птиц заблудившихся стая
в небе предснежном;
кто там, в сумерках дали морской?
куршей ли лодки груженные, грузные
тени ли рыб огромных,
всплывающих
вверх;

над нами в кроне сосны запутался
в узел скрутившийся ветер;
наши плечи укрыты
дымчато-красной виллайне; иней
на ресницах; на кончиках пальцев
птиц умерших
пути;

— — — — —
в твоих глазах темные смолы и огни;
в моих — полевицы, ломаясь и ночь.

ПРОЩАНИЕ С СЕМБОЙ

мало что помню: мгла легла
на луг, с верхушек елей
чернели
черты забытых героев; по тропе
возвращался никто,
в небесах безголосо
кружилась
судьба моя, и у колодца
укрытая мглой
жаба сидела;

(уже не проснешься —
тот стройнорогий олень, в рогах которого
Солнце твое зашло,
умер.)

стихло бряцанье оружия вдали,
крыло черного ворона
укрыло
мою побелевшую руку,
закрыло мои глаза,
и я уже не увижу,
чьей я касаюсь руки —
мглы, ночи?
дыханья хтонического ледяного короля жаб?

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

Перконс — бог грома, плодородия в латыш. мифологии, в ритуале связан с дубом, горой.

Лыва — лес на болоте.

Вайделот — мифологизированный образ жреца у балтов, позже — литературный персонаж в романтической традиции, слагатель песен исторического содержания.

Пушкайтис — латышский народный музыкальный инструмент.

Игрений — конская масть.

Кокле — латышский аналог гуслей.

Виллайне — большой шерстяной платок, принадлежность латышского национального женского костюма.

Курши — древнебалтийская народность, жившая на территории современной западной Латвии.

Семба — земля древних пруссов, примерно в границах Калининградской области.

Три Катехизиса — единственные известные ныне печатные тексты на древнепрусском языке.

As rowīgrs — «я свободен» (древнепрусск.).

Перкунс — древнепрусский аналог Перконса.

Ромове — главный древнепрусский культовый центр.

ОДНОСТРОЧЬЯ

*
склоняю голову перед белым листом
*
голос топора в лесу душ
*
цветущая ветка сливы указывает дорогу на кладбище
*
в прибрежном песке ожидает девятый вал мертвая Чайка
*
люблю тебя всей береговой линией
*
после дождя над зеркалами надгробий покой души
*
умершие поднимаются на восьмой этаж семиэтажного дома
*
цезура длиною в целую смерть
*
мой слепой брат — живописец при дворе тирана
*
очнись: ветер бродит по саду, встряхивая головки маков
*
звенящие колоски полевицы ветру выбалтывают мою любовь
*
целуясь с Неврастенией, до крови искушать ей губы
*
после дождя в зеркалах надгробий отражаются мертвых глаза
*
в озеро сердца забросив удочку — жду
*
запах хвои и игра теней на прикрытых веках
*
капля дождя на волосах незнакомой женщины словно распавшиеся четки
*
прощаясь, вдруг увидели друг друга как будто в перевернутые бинокли
*
ОТКРОВЕНИЕ: из камня вылетают бабочки
*
ВЕСНА: черепахи пробуют летать
*
ОСЕНЬ: бородатый козлоногий мужичок вламывается в двери и клянчит глинт-вейн
*
прежде чем балдеть от красиво инкрустированной рукоятки, проверьте, не торчит ли этот нож в чьей-то спине
*
государства, границы — дороги как разрубленные суставы
*
КОЛОКОЛ: против единомыслия соратников бьется язык дурачка
*
скотину спасает от скуки голос точила



СТАЛИННАДА

МЕМУАРЫ ПО ЧУЖИМ ВОСПОМИНАНИЯМ С ИСТОРИЧЕСКИМИ АНЕКДОТАМИ И ВОСПОМИНАНИЯМИ АВТОРА

ОТ АВТОРА

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забывать не в силах ничего.

А. БЛОК

То, что интересно для историка,
То для современника печально.

Н. Глазков

Около полувека в различных социальных, профессиональных, национальных кругах я собирал притчи, легенды, апокрифы о Сталине. В одних случаях эти устные рассказы приходили ко мне от людей, непосредственно со Сталиным встречавшихся или участвовавших в событиях, связанных с ним. В других случаях такие истории отрывались от героя-рассказчика и попадали ко мне в обработанном коллективным сознанием виде, пройдя через многие опосредствующие звенья.

В условиях существования огромного репрессивного аппарата, созданного Сталиным, предавать эти слухи бумаге было делом очень небезопасным, поэтому люди, в других социальных условиях фиксировавшие бы свой жизненный опыт в художественном, научном, эпистолярном, дневниковом виде, отучались от такой формы его письменной консервации. Потребность самовыражения приводилась в вынужденное соответствие с политической обстановкой. Так возник феномен особого рода — городской, интеллигентский фольклор — необыкновенно емкая, выразительная, совершенно свободная в своей неподцензурности форма хранения социального опыта.

Судьба этих преданий была в чем-то более счастлива, чем судьба печатного слова тех лет. В них ничто не лакировалось ни «внутренним редактором» автора, ни редактором издательским, ничто не отсекалось. Образ Сталина, возникающий из исторических анекдотов, противостоит той сусальной фигуре вождя, полководца и отца народов, которую наши литература, театр, кино, изобразительное искусство рисовали два десятилетия до 1953 года и два десятилетия после 1965-го.

Согласно Аристотелю, история повествует о действительном, а литература — о вероятном — «не о действительно случившемся, но о том, что могло бы слу-

читься, следовательно, о возможном по вероятности или по необходимости» (Аристотель). Создатель кибернетики Н. Винер считал, что сообщение о вероятном информативно насыщеннее сообщения о случившемся.

Возникшие в истории культуры легенды всегда художественно осмыслили действительность, проявляя ее суть, даже когда отступали от факта. Так, например, известно, что актер Мочалов, простудившись дорогой, умер в Москве. Молва же говорит, что он умер в пути: замерз, как ящик. В этой красивой легенде правды жизни больше, чем в реальном событии. Предание отождествляет Мочалова с ящиком и тем самым подчеркивает народность великого актера. Эта легенда, творящая по вероятности, более жизненна, чем жизнь, творящая по случайности.

Я предлагаю предания вниманию читателей не как документы о фактах истории, а как свидетельство о духовной жизни народа. То есть, повторюсь, речь идет не об историческом, а о художественном материале, не о достоверном, а о вероятном, не о научно истинном, а о художественно правдивом. Творя по вероятности, легенды, даже отступая от факта, часто приближаются к его сущности, способствуя своим художественным анализом постижению сталинщины. Именно поэтому, даже обнаруживая в рассказах исторические неточности, я не вносил поправок, приближающих текст к истории, но лишаящих его фольклорно-притчевого своеобразия. Ложные притчи обладают ценностью, лежащей поверх исторических фактов, они фиксируют факты духа.

Так, существует легенда о том, что Тухачевский был сослан на Соловки и расстрелян там уже после войны. Сомнительность этой версии очевидна: во-первых, никто из заключенных не свидетельствовал, что когда-либо на Соловках был Тухачевский, во-вторых, приговоры по таким процессам, как процесс Тухачевского, приводились в исполнение немедленно и обжалованию не подлежали. Вместе с тем, это — убедительный документ народного сознания, которое не хотело смириться со смертью маршала-героя, связывая с ним исход войны.

Даже если уже опубликован документ, опровергающий притчу, я не вносил поправок, приближающих текст к истории, но уводящих его от фольклорного своеобразия и от особенностей нового жанра «мемуаров по чужим воспоминаниям».

Так, например, одна из притч рассказывает, что актер Геловани умер через два года после смерти Сталина, день в день 5 марта, в состоянии нервного расстройства: ему казалось, что тело Сталина в Мавзолее начало портиться и что его — Геловани — убьют и положат исполнять посмертную роль вождя. Я расцениваю эту притчу как метафору: мертвый хватает живого — и не привожу в соответствие с действительностью, которая была иной и в которой был свой, исторический смысл: Геловани, чья творческая судьба была трагически обусловлена проклятым богом и людскими образом Сталина, умер в год XX съезда, в день рождения Сталина (21 декабря 1956 года). В конечном же счете и притча и факт по-разному говорят о страшной силе зла, воплощенной в Сталине.

Томас Манн так определял задачу своей прозы, пронизанной преданиями: необходимо выбить миф из рук фашизма. Наша задача аналогична, ибо нельзя отдавать миф сталинизму. Перефразируя известные слова, сказанные об искусстве, и с еще большим основанием отнеся их к преданиям, можно сказать: мифология принадлежит народу. Своими глубочайшими корнями она уходит в самую толщу народной жизни и народного сознания. Официозной мифологии сталинизма, многие годы насаждавшейся в нашем обществе, противостоят предания и легенды, объединенные в «Сталиниаде».

Предания о Сталине важны для понимания истории духа и для осмысления истории страны еще и потому, что иной раз документы той эпохи имеют не бóльшую, чем легенды, степень достоверности. И взаимопроверка притчи и документа сможет дать истории как науке некоторые дополнительные возможности. Чтобы историческое видение эпохи было объемным, нужно смотреть на нее в оба: глазами документа и предания.

Помимо легенд и свидетельств, возникавших стихийно, имели хождение и легенды-слухи, видимо специально создававшиеся и запущавшиеся на орбиту общественного обращения официальными кругами той поры. К числу таких я бы отнес легенду о генерале авиации, дважды Герое Советского Союза Якове Смушкевиче, под именем Дуглас участвовавшем в испанской антифашистской войне и

позже ставшем главнокомандующим Военно-воздушными силами СССР. Предание утверждает, что в начале войны Смушкевич по распоряжению Сталина был расстрелян за трусость. На «трусость» Смушкевича легенда списывала потерю огромного числа самолетов, уничтоженных врагом на земле. (Столь же велики были, впрочем, потери в танках и артиллерии.) На самом деле Смушкевича арестовали еще до войны, и он не мог ни командовать советской авиацией, ни отвечать за ее неудачи в первые дни боев.

Сегодня о Сталине написано уже много.

Человек салона может себе позволить капризно сказать: «Опять о погоде. Надоело!» Крестьянин так не скажет никогда: от погоды зависит и пахота, и жатва. Обитатель бюрократического кабинета сейчас стонет, открывая задвижку журнала или газету: «Опять о Сталине! Надоело!» Человек культуры и демократического сознания так не скажет никогда, ведь от раскрытия этой темы зависит вся наша жизнь.

Уже многое сказано о Сталине в публицистике. Еще больше сказано в литературе. Есть философический образ Сталина в романе В. Гроссмана, психологический — в романе А. Рыбакова, политический образ Сталина — строителя Абсолютной Системы — в романе А. Бека. В этих произведениях фигура Сталина предстает в серьезной трактовке, но в ограниченных творческим заданием автора социальных связях. Тот образ, который создал народ, является истинно шекспировским по своей социальной и эстетической многогранности. Это Сталин философически и политически осмысленный, психологи-чески мотивированный — и смешной, и страшный, и масштабный, и ничтожный, и умный, и безумный, и широкий, и деспотичный, и остроумный, и тупой. При всех этих и десятках других качеств образ Сталина обладает эстетической и социальной доминантой, главной краской, главным качеством — низменный и ужасный палач, тиран, деспот.

Сколь ни была всесокрушительна и всевластна тирания Сталина, народная память пережила и победила тирана. В этой связи социальное бытие анекдотов не лишено героизма: они хранились в памяти и в устной молве, но даже такая трудно-контролируемая форма их существования была небезопасна для обладателей этой информации. Будучи формой сопротивления сталинизму, этот фольклор способствовал формированию той духовной ситуации, которая помогла народу войти в атмосферу разоблачений сталинизма и в определенном отношении послужила одной из предпосылок этих разоблачений.

Я хочу специально подчеркнуть, что героический аспект бытия этих исторических анекдотов и преданий ни в коем случае не распространяется на меня — их собирателя. Конечно, в сталинское время, да и в некоторые периоды после, сбор этих преданий был небезопасен. Однако до 1953 года я занимался этим, будучи вовсе не героем, а глупцом. Я, как и большинство людей моего поколения, воспитывался в духе сталинизма и полагал, что, собирая предания о великом вожде, делаю некую работу во славу гения всех времен и народов. Иное дело, что отдельные предания, которые в конце 40-х — начале 50-х годов казались мне хвалебными по отношению к Сталину, при современном чтении, «свежими и нынешними очами», выглядят как разоблачительные. Кроме того, когда мне попадались предания, откровенно разоблачавшие вождя, я их из научной добросовестности и жадности коллекционера все равно записывал. При этом, понимая опасность таких записей, я никому их не показывал и никому о них не рассказывал. Коллекционирование исторических анекдотов о Сталине и сталинизме сталинизмом, каким я был в те годы, было выразительным проявлением двоемыслия — феномена, открытого Оруэллом. Объяснить внятно и логично, что это такое, трудно: в одной личности уживаются, соседствуют, сосуществуют два сознания. Прежде всего, это рабски смиренные, официально открытые, пафосно восторженное приятие тоталитарной системы как наиболее прогрессивной и рациональной формы организации общества. В то же время в том же сознании живет и прячется от самого себя, не признаваясь в своей реальности, критическое понимание противочеловечности и социальной неплодотворности сталинизма.

Интеллигенция — вершина айсберга жизни народного духа.

Девять десятых айсберга находятся под водой и не видны. Точно так же не видно и находится под поверхностью жизни народное сознание, составляющее основание всей духовной жизни общества, в том числе и интеллигентского сознания.

Исторические анекдоты о Сталине уже сегодня важны для развития литературы.

На их материале основано немало эпизодов романа А. Бека «Особое назначение» (например, сцена, во время которой Сталин по-грузински спорит с Орджоникидзе и спрашивает у заведомо не знающего грузинский человек: «Кто прав?»). Совершенно ясно, что и В. Гроссман знал некоторые из преданий о Сталине и использовал их в своем романе «Жизнь и судьба». В этом убеждает, например, рассуждение писателя об огромном весе государства, наваливающегося на несчастную фигуру заключенного, а также история о телефонном разговоре Сталина с Пастернаком.

То же самое можно сказать о многих страницах в «Детях Арбата» Рыбакова. Большинство исторических анекдотов, использованных в произведениях этих авторов, зафиксированы и в моей коллекции. Можно вспомнить о фактах использования преданий о Сталине и в других произведениях.

Для дальнейшего развития нашей художественной культуры этот слой фольклора будет иметь все возрастающее значение.

Существует легенда о царе Мидасе, не оценившем музыкального гения Аполлона. В отмщение Аполлон наградил царя ослиными ушами. Мидас тщательно скрывал их от подданных. Единственный человек, которому под страхом смерти была доверена тайна царского позора, был его брладобрей. Однако нести в одиночку тяжкий груз этой тайны оказалось брладобрею не под силу. Тогда он отправился в поле, вырыл там ямку и сказал в нее: «У царя Мидаса ослиные уши». Жить ему стало легче, но вскоре на этом месте вырос тростник. Он шелестел на ветру: «У царя Мидаса ослиные уши», а ветер разнес эту тайну по миру.

Десятилетия я собирал эти притчи и зарывал их в «ямку». Пусть теперь выросший тростник шумит на ветрах эпохи и рассказывает правду о сталинщине. Для Паскаля человек — мыслящий тростник. Как хрупко это растение и как упрямо живуче. Никаким террором не удалось лишить его свободомыслия. Эти предания — еще одно тому доказательство.

ПОРТРЕТ ВОЖДЯ

Фальсификация подсознания

Помощник Сталина Поскребышев утверждает, что часто, сидя за столом, отец народов в задумчивости рисовал профиль Ленина или писал его имя. Поступок нарочитый даже для действительно верного ученика Ленина (клише «верный ученик» идет от фразеологии, почерпнутой Сталиным в семинарии).

Полезный отдых

На даче у Сталина была лошадь — смиренная, невысоких кровей. Ездил он на ней почти каждый день, не столько ради удовольствия, сколько для встряхивания позвоночника. Лошадь эта пережила Сталина.

Трудовое самовоспитание

Сталин считал, что для продления жизни нужно копать землю. Каждое утро он брал в руки лопату, и каждый вечер охранники затапывали сапогами вскопанный участок. Это был сизифов труд вождя и его телохранителей. Некоторые из них сходили с ума, не в силах снести «надругательства» над плодами трудов их божества.

Обобщенный образ Сталина, или Гениальный монтаж

Находясь в Москве, знаменитый польский кинорежиссер Анджей Вайда должен был просмотреть ряд интересующих его кинодокументов. Случайно киномеханик запустил не тот ролик. В нем по распоряжению какого-то бюрократа для удобства хранения были собраны вместе и склеены все кадры, запечатлевшие участие Сталина в похоронах видных государственных деятелей. Вот Сталин и его соратники несут гроб с телом Кирова, вот в другую сторону несут гроб с телом Горького,

вот навстречу зрителям — гроб с телом Орджоникидзе, вот — Куйбышева, Жданова и т. д.

Когда-то Гегель задавался вопросом: сколько раз нужно просыпать наборный шрифт, чтобы сложилась строка «Илиады»? Может ли чистая случайность породить смыслонагруженный образ, несущий высшую гармонию и красоту? Киноролик государственных похорон дает ответ на этот вопрос: случайность создала выдающийся по своей художественной выразительности и философской глубине образ Сталина — разносчика смерти.

Призыв из застенка

Чекист Артузов — организатор операции «Трест» — был во второй половине 30-х годов арестован. В тюрьме он вскрыл вены и написал на простыне кровью: «Настоящий коммунист, убей Сталина!»

КТО БЫЛИ ВАШИ РОДИТЕЛИ? ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЛИСЬ ДО 17 ГОДА?

Черный день календаря

Распространенное в персидском ареале поверье предписывало убивать детей, рожденных 21 декабря, так как это дети зла. Иосиф Виссарионович Сталин родился 21 декабря 1879 года.

Странная версия

Существует легенда, что Сталин сын Пржевальского.

Основания легенды: во-первых, Пржевальский и Сталин очень похожи друг на друга, во-вторых, два года до рождения Сталина Пржевальский провел в Гори, в-третьих, у Пржевальского где-то был незаконнорожденный сын, которому он помогал материально.

Эти доводы совершенно несостоятельны, а легенда ни исторической, ни художественной ценности не имеет, однако значима как свидетельство затемненности происхождения Сталина.

Впрочем, не все считают эту легенду неправдоподобной. Анатолий Дмитриевич Голубов провел замечательное исследование и выяснил: в 1878—1879 годах Пржевальский жил в Гори. Пржевальский имел обыкновение ежедневно подробно записывать в дневник все свои поступки и все события. Из архива Пржевальского в годы господства Сталина было изъято все, что касалось периода его пребывания в Гори. Однако в расходной книге недостаточно внимательный изыскатель архива оставил страницы, на которых зафиксированы расходы: деньги, пересылавшиеся в 1880 и 1881 годах в Гори матери Сталина. Позже пересылка денег была прекращена. В 40-х годах кинорежиссеру Э. было настоятельно предложено создать фильм о Пржевальском. Для создания этого фильма режиссер отправился по следам путешествий Пржевальского в Китай. Там, встретившись с Чжоу Эньлаем, режиссер попросил у него помощи в организации массовых сцен. Политический деятель ответил:

— Пржевальский был врагом китайского народа. Никакой помощи в съемках фильма об этом недостойном человеке мы не окажем.

Режиссер в растерянности сообщил об этом в советское посольство в Пекине. Через некоторое время Сталин позвонил Мао Цзэдуну, и тот пригласил режиссера и сказал ему:

— Вы собираетесь снимать фильм о великом друге китайского народа — Пржевальском. Все, что нужно вам для работы, мы обеспечим. Если нужно, выделим миллион человек для массовых сцен. Работайте.

Вполне возможно, что даже мать Сталина не знала, кто его отец.

Легенды об отце и братьях

Согласно одной из легенд, отцом Сталина был не сапожник Виссарион Иванович Джугашвили, а князь Эгнаташвили, у которого мать Сталина служила экономкой.

От позора Джугашвили вскоре покинул свою семью: любовный треугольник для восточного сознания абсолютно непереносим. Сталин и рос, и формировался в обстановке полного презрения к зачатому в грехе, незаконнорожденному ребенку. Отсюда, возможно, истоки сталинского комплекса неполноценности, органично перераставшего в желание властвовать и подавлять. Рассказывают, когда Сталин в начале 30-х годов был в Тбилиси и у него спросили, как поживает его мать, он ответил: «Меня совершенно не интересует, как живет эта старая . . .». Напротив, два брата Эгнаташвили пользовались уважением и благосклонностью Сталина. Он сделал их значительными людьми — членами Верховного Совета Грузинской ССР.

После XX съезда во Франции объявился эмигрант, назвавший себя одним из сыновей князя Эгнаташвили и братом Сталина. Раньше, по словам этого человека, он не признавался в таком родстве из страха за свою жизнь.

Легенда о матери

Виссариона Ивановича Джугашвили поили вином, когда его жена Екатерина Георгиевна уходила к князю. Однажды, протрезвев раньше времени, Виссарион Иванович избил вернувшуюся домой жену. За ним пришли какие-то люди, и он навсегда исчез. Получив власть, Сталин вырезал многих жителей Гори, опасаясь, что в их памяти сохранились неофициальные сведения о его рождении. Князь был религиозным деятелем, и маленького Сосо отдали в духовное училище (1888 г.), а затем в Тифлисскую духовную семинарию (1894), которая была довольно сильным учебным заведением. Принимали туда после собеседования. Непрошедших отправляли домой с выпиской: «К ученью туп». (Откровенность и определенность суждений завидная.) Плохо подготовленному Сосо удалось избежать этой формулировки благодаря природной сообразительности и заступничеству князя. Говорят, здесь же учился тбилисский армянин Гурджиев — создатель одного из суфийских учений, очень популярных в мусульманских странах на Среднем и Ближнем Востоке. Издевательства и унижения, которые по причине своего сомнительного происхождения терпел Сталин в семинарии, толкнули его на первый «революционный» поступок: он перебил семинарские окна, за что и был в 1899 году исключен. Оказавшись на воле, он стал заниматься воровством и разбоем. Попадал в тюрьмы. Связался там с жандармерией и сделался наводчиком на воров. Там же познакомился с политическими и начал работать на жандармерию, против них. Шесть побегов из ссылки — это не без помощи жандармов.

Вполне возможно, что все это неправда. Однако важно, что бытующая в народе легенда рисует образ юного вождя в очень невыгодном освещении. Отрицательная ценностная ориентация народного сознания — неопровержимый факт истории.

Незаячий тулуп

В ссылке Сталин познакомился с неким анархистом, также отбывающим наказание. Анархист — артист и литератор из Петербурга — по возможности пытался продолжить богемную жизнь и в ссылке. Когда Сталин задумал бежать, он уговорил анархиста уступить ему добротный овечий тулуп (на какой-то картине времен культа Сталина изображен бегущим из ссылки в тулупе).

После революции анархист вернулся из ссылки и во время нэпа разбогател. В конце 20-х годов был сослан в лагерь. По освобождении поселился в Москве в жалкой каморке. Постаревший и больной, он жил бедно, на скудные деньги, которые давали переводы. Однажды он написал письмо Сталину. Через некоторое время к нему пришли двое молодых военных и установили личный телефон. А вечером того же дня раздался звонок.

— Алло, это говорит Сталин.

— Да, товарищ Сталин, я вам писал. Помните тулуп? . .

— Да, помню, такое не забывается.

И Сталин повесил трубку.

Той же ночью беднягу отправили туда, где старый романовский тулуп ему бы очень пригодился.

Благородные разбойники прошлого, получив даже заячий тулуп, так не поступали . . .

Первый брак

Прозаик Неля Туманова рассказала мне, что сразу после войны она жила по соседству с Кето Кутабеладзе, которая в начале века дружила с первой женой Сталина Екатериной Сванидзе. Невольно Кето стала свидетельницей одного семейного эпизода.

Двери всех квартир по-южному выходили на общий балкон, который заканчивался умывальником. Сванидзе болела. Стоя на балконе, Кето слышала, как она долго просила мужа дать ей пить. Наконец Сталин выскочил на балкон с большой бутылкой, наполнил ее водой и скрылся. Тут же Кето услышала крик Сванидзе и вбежала в комнату: разозленный Сталин вливал в рот захлебывающейся жене воду. Кето вырвала из рук Сталина бутылку, он же грубо оттолкнул непрошеную заступницу.

При таких взаимоотношениях брак не мог оказаться счастливым.

Встреча Нового года

Новый 1913 год Ленин, Сталин и Троцкий встречали вместе в Кракове. После застолья заиграла музыка, и Ленин воскликнул:

— Ты, грузин, пляши!

И Сталин пустился в пляс.

Не по-сталински

В Туруханский край на четыре года Сталин был сослан в 1913 году. Именно к этому времени он, по преданию, прекратил сотрудничество с охранкой, и примечательно: его ссылка уже ни разу не прерывается удачным побегом. Ни одного побега за четыре года — это не по-сталински.

«Я не стану . . .»

Жила в Туруханском крае неподалеку от Сталина одна молодая безотказная женщина. Взаимностью она не ответила только Сталину. Как не вспомнить стихи Марины Цветаевой:

Со всей каторгой гуляла —

Нипочем! . . .

Я не стану целоваться с палачом.

Видимо, у сибирячки был тот же разбойно-вольный характер и брезгливость, что и у героини цветаевского стиха. И тогда удивительна интуиция: за четверть века до 1937 года женщина угадала в Сталине палача.

НА ПУТЯХ К ВЛАСТИ

СТАЛИН И ЛЕНИН

Больше света!
Предсмертные слова Гете

Чудеса фотомонтажа

Рассказывают, что фотография «Ленин и Сталин в Горках», на которой они сидят рядом на скамейке, — плод фотомонтажа. Отношение Ленина к Сталину в это время было столь неприязненно, что дружеская беседа была невозможна. Этот снимок как бы защищал Сталина от завещания Ленина, демонстрируя их близость друг к другу. Когда в 1952 году я работал в журнале «Театр», автор какой-то публикации принес мне фотографию: Сталин и Молотов сидят на той же скамейке в Горках в тех же позах, что Сталин и Ленин на известном снимке. Заметив удивительное сходство сюжетов и композиции, я с недоумением обратился к главному редактору драматургу Николаю Федоровичу Погодину.

Был закат сталинской эпохи, шли особенно интенсивные аресты. Склонив голову набок, Погодин хмуро и нехотя дал мрачное по возможным последствиям указание:

— Да, странный монтаж. Об этом надо написать в ЦК или куда следует. Очень часто бывает в таких случаях, что где-то сидит какой-то старой закалки наборщик и протаскивает какое-то вредительство . . .

При чем тут наборщик, я по молодости и несмышленности не понял. Времена были хуже и страшнее некуда. Может быть, Погодин специально давал какое-то темное указание, боясь воздержаться от верноподданнической акции, но при этом не желая ее совершать. Фотографию я печатать не стал. Но куда ее и не переслал.

Только сейчас, многое узнав об этой эпохе, могу представить те гонения, расследования, аресты, которые вызвала бы публикация или пересылка в инстанции такой фотографии.

Если увидеть этот факт в контексте конца сталинской эпохи, когда Молотов и другие старые соратники вождя были на грани ареста, то можно предположить, что фотография была не случайно заброшена в журнал. Может быть, я уклонился от роли детонатора в адской машине, которая должна была взорвать одного из соратников вождя? Или если можно сделать фотомонтаж «Сталин и Ленин в Горках сидят на скамейке», почему нельзя сделать другой фотомонтаж, сменив одного из персонажей? Однако первая фотография была нужна Сталину, чтобы визуально подтвердить преемственность его власти от Ленина. А кому нужна была фотография «Сталин и Молотов»? Молотову для доказательства близости к Сталину? Неудобительно: ведь плагиат композиции явно выдавал фотомонтаж. Молотову это фото могло только повредить. Скорее всего, это фото было изначальным и реальным и послужило когда-то первоисточником для политической фальсификации: Молотова сменили на Ленина. Вероятно, автор статьи наткнулся на редкий снимок и переснял его для журнала, доверившись подлинности архивного материала.

Странный треугольник

В 1961 году в Переделкино литературовед Валерий Яковлевич Кирпотин делится со мною воспоминаниями.

Сталин рассказывал писателям на даче у Горького, что Ленин, чувствуя приближение болезни, взял со Сталина честное партийное слово, что тот в случае паралича даст ему яд. Когда Ленин действительно был парализован, Сталин обратился в Политбюро с просьбой снять с него слово, данное Ленину. Специальным решением Политбюро освободило Сталина от этого обязательства.

Странный треугольник: Сталин — Ленин — яд.

Загадочная гибель

Камо погиб в 1922 году в Тбилиси при загадочных обстоятельствах. Он был сбит машиной (чуть ли не единственной в городе), когда ехал на велосипеде. Еще в те годы существовало подозрение, что он был устранен Сталиным: Камо хотел пробиться в Горки и освободить Ленина из-под домашнего ареста.

Бальзамирование

Я выступал в Доме ученых на вечере, посвященном мемуарам Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь». По окончании Илья Григорьевич говорил мне, что в истории есть много загадок, которые, наверное, уже не удастся разгадать. Например, никто никогда не узнает, почему на Политбюро в 1924 году такие разные люди, как Бухарин, Зиновьев, Сталин, Троцкий, Каменев, вопреки русской национальной традиции, вопреки коммунистическому мировоззрению, вопреки взглядам самого Ленина и его желанию быть похороненным рядом с матерью, вопреки слезам и просьбам Крупской решили строить мавзолей, бальзамировать тело Ленина и таким фараонским способом увековечить его память. Причины, вероятно, были разными и смешанными: для одних — это дань памяти, для других — желание укрепить себя и свою власть тенью авторитета, для Сталина, наверное, в этом решении были зачатки идеи культа личности. Как бы там ни было, — закончил

Эренбург, — ничего нельзя уже понять точно: ни одного участника этого события нет в живых.

БЫТ И ПРАВЫ, КУЛЬТУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Он здесь бывал. Еще не в галифе.
В пальто из драпа. Сдержанный, сутулый.
Арестом обитателей кафе
Покончив позже с мировой культурой.

И. Бродский

Времяпрепровождение

По свидетельству критика Ильи Фейнберга, поэт Владислав Ходасевич рассказывал, что Сталин имел привычку часами лежать на кушетке и плевать на налчинок над дверью. Это очень не нравилось его жене Надежде Аллилуевой, и она ругала и стыдила его даже при посторонних.

Дела семейные

Старый член партии Полина Семеновна Виноградская в 1980 году в Доме ветеранов кино (Матвеевское) рассказывала:

В Царицыне Надежда Аллилуева была секретарем Сталина. Она была светлая, солнечная девушка, верящая в добро. Никто никогда не мог понять ее выбора. История же этого брака многое объясняет.

В 1918 году Сталин был направлен в Царицын с широкими полномочиями по заготовке продовольствия для Петрограда, Москвы и других городов. Он ехал в особом поезде, в котором были и другие партийцы, в частности старый большевик Аллилуев и его дочь Надежда — машинистка Совнаркома. Ночью Аллилуев проснулся от шума, доносившегося из купе дочери. Аллилуев стал рваться туда. Ему отворили не сразу. Когда он вломился в купе, то увидел недвусмысленную картину. Аллилуев вытащил пистолет и хотел застрелить Сталина, но тот упал на колени и стал просить пощады, уверяя, что хочет жениться на Надежде. Та, плача, отвечала, что не желает выходить за него замуж. Вскоре выяснилось, что она беременна. В начале 1919 года, когда Сталину было 40 лет, Надежда Аллилуева стала его женой и вскоре родился сын Василий.

Тайна этой женитьбы тщательно сохранялась. В ней одна из причин гибели Аллилуевой и ареста большинства ее родственников. Не был посажен только Аллилуев-отец. Он зарыл в саду бумагу с рассказом об этом. А дочь Анастасия (та, что писала воспоминания), выйдя после смерти Сталина из лагеря, по секрету рассказала эту историю адвокату, занимавшемуся делом посмертной реабилитации ее мужа.

Один из рецензентов моей рукописи резко протестовал против публикации этого предания, недоказанного, документально не подтвержденного. В отличие от рецензента я не считаю, что публиковать это предание недопустимо.

1. Поэт писал:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши вздохи за десять шагов не слышны.

Мы долгие годы ничего не знали о себе, о стране, о своих руководителях. Жалкие сведения и те приходили к нам «идеологически» обработанными. Как говорил другой поэт:

Все пропаганда, весь мир пропаганда.

Теперь, страшными усилиями преодолевая свою слепоту и социальную лень к прозрению, психологические барьеры и моральные шоры, мы начинаем постигать наше настоящее и прошлое. И как привычно это постижение ограничить рамками дозволенного «приличия». Однако куда деть неприличное? Необходимо ли его просто выбросить из истории? Или во имя неповторимости его следует осмыслить?

2. Многие сведения о нашем недавнем прошлом не могут быть сегодня документально подтверждены. Однако разве это довод против их публикации с указанием на вероятный, а не достоверный характер? Достоверность таких сведений в процессе исторической проверки будет либо повышаться, либо понижаться. Однако для того, чтобы сведения были проверены, они должны быть введены в культуру.

3. Эта книга призвана дать художественный образ эпохи, а не ее документальное описание. Трудно поверить, что Полина Семеновна Виноградская выдумывала: она была человеком без фантазий, в ее рассказе были подробности, которые не придумаешь. Если же в предании, сообщенном мне Виноградской, все же содержится выдумка, то и она ценна, потому что важно направление и характер этой выдумки.

4. В истории, рассказанной здесь, Аллилуева предстает как вызывающая сочувствие, а осуждения заслуживает Сталин.

5. Мы до тех пор не будем свободными людьми, пока не научимся раскрепощенному, в том числе и фривольному, отношению к своему прошлому и его персонажам. Пример такой свободы и даже фривольности показал Ф. Искандер в «Моем бедном Марате». Герой повести оказывается любовником любовницы Берии. Описывая донжуанские похождения героя, балансирующего над пропастью, автор не просто сообщает пикантные подробности жизни одного из самых страшных соратников Сталина, но и передает ужас бесправия людей.

Не смогли бы французы выйти из состояния духовной несвободы, если бы Вольтер не совершил непомерно смелого кощунства — не осмелел ни много ни мало национальную героиню Франции Жанну д'Арк. И фривольность этого осмеяния столь великолепно свободна, безоглядна, что, прочитав это, нельзя было больше оставаться верноподданным рабом короля и аристократии. Такая фривольность обрекала нацию на свободу.

Я хочу раскрепостить и себя, и моего читателя и разрешаю себе быть свободным, в том числе и от мнения моих рецензентов.

Руководитель культуры

Во второй половине 20-х годов наркомом просвещения Закавказья стал с благословения Сталина бывший грузчик. Он говорил своему другу носильщику: «Видишь, я нарком просвещения! Представляешь, кем бы я стал, если бы был грамотным?!» Писать резолюции он вскоре все-таки научился. Когда в Наркомат прислали бюст Ленина, нарком написал: «Просим прислать бюст с ногами». Когда Наркомату достались два новых унитаза, нарком решил, что это вазы для фруктов, и во время очередного революционного праздника эти «вазы» были с большим трудом установлены на столах.

В конце 20-х годов в вузах ввели плату за обучение. Одна вдова прислала письмо с просьбой освободить ее сына от платы за обучение. Нарком написал резолюцию: «Бесплатный социализм кончился».

В 30-х годах этого наркома расстреляли. Видим, на новом этапе для разрушения культуры потребовались люди с более высокой, чем у грузчика, квалификацией. Эти же годы был арестован и другой бывший грузчик — Гронский, руководивший культурой и литературой в Москве.

Источники повести

О роли Сталина в устранении Фрунзе с помощью хирургической операции Пильняку рассказал Воронский. Сталин же обвинил в этом чекиста Якова Сауловича Агранова. В 1937 году его арестовали и заставили признаться в этом «преступлении», которое, по понятным причинам, подтвердил и арестованный Пильняк.

Полковник Какурин

Полковник царской армии Какурин в начале 20-х годов вступил в ряды Красной Армии и вскоре стал помощником командующего Западным фронтом. В конце 20-х годов он выпустил книгу «Как сражалась революция» и начал работу над

теоретическим трудом по военным вопросам. Сталину донесли, что Какурин анализирует военные операции гражданской войны и раскрывает ряд военных ошибок Сталина. По распоряжению Сталина Какурин был арестован.

Быстрый успех

На одного из учеников Бехтерева падает подозрение в отравлении своего учителя. Настораживающая деталь его карьеры: вскоре после смерти Бехтерева (1927 г.) этот ученик был принят в партию без кандидатского стажа.

Путь к решению проблем

В середине 20-х годов, просматривая газету, Сталин прочел сообщение об отравлении одного из лидеров оппозиции в Персии. «Вот видишь, — сказал Сталин Ворошилову, — как они решают вопрос об оппозиции».

Заманчивое предложение, которое нужно забыть

Жена бывшего секретаря Сталина В. Кюссе в конце 50-х годов рассказывала.

В 1928 году Сталин предложил Бухарину:

— Ты будешь главным теоретиком партии, а я — главным организатором и руководителем. И мы оба, как Гималайские вершины, будем возвышаться над всеми.

Секретарь Сталина сказал жене: забудь, что мы слышали эту фразу. Однако предусмотрительность не спасла их: его расстреляли, она 17 лет просидела в тюрьме.

Аллилуйя

Митрополит Сергей в 1929 году выступил с проповедью: все беды Сталина — наши беды, все наши успехи достигнуты благодаря ему. Отца Сергея поддержали четыре митрополита, а священнослужителей, выразивших протест, арестовали.

НА ПУТЯХ К ЕДИНОВЛАСТИЮ

Аллилуева

Я знал Ксюшу Аллилуеву, двоюродную сестру Светланы Сталиной. Когда в конце 40-х годов арестовали ее родителей, ей было лет шестнадцать и она жила с двумя братьями в знаменитом доме на набережной. Эту милую и всегда голодную девочку подкармливали товарищи по школе и знакомые. В доме было запустение. Одну из комнат опечатали при обыске, и туда были свалены книги, ковры и многие другие вещи. Из щелей двери вылетали стайки моли, питавшейся коврами.

Выбор подруги

Когда Светлана Сталина училась в школе, ей была «подставлена» официальная подруга — дочь чина НКВД. Девочка сидела со Светланой за одной партой и единственная из всего класса ходила к ней в дом и ездила на дачу. Там Сталин любил разжигать костер и смотреть, как девочки прыгали через него. Светлана боялась. Сталин кричал и заставлял прыгать, ставя в пример подругу.

С кем же было дружить дочери вождя, если не с дочерью охранника? Человеческие связи регулировались и обрывались (позже даже любовные и семейные). Отец этой подруги остался жив, хотя служил в учреждении, состав которого часто пропалывали.

Детское мышление в массы!

Однажды Светлана и ее подруга гуляли в саду на даче у Сталина. Вдруг их позвали в комнату, где члены Политбюро обсуждали варианты нового ордена «Знак

Почета». Сталин предложил девочкам выбрать из множества рисунков наиболее понравившийся. Светлана выбрала. Сталин сказал: «Этот утвердим».

Для Сталина сознание народа — детское сознание, что нравится ребенку, то понравится и народу, наивному в мыслях, примитивному во вкусах. Сталин — один из первых политиков XX века, учитывавший массовую психологию и использовавший массовые коммуникации.

Сапожник, так и не ставший руководителем

Проезжая на поезде какой-то город в Закавказье, Сталин обмолвился, что здесь жил друг его юности. Человека нашли. Он оказался директором сапожной мастерской. Его назначили секретарем райкома, а через некоторое время — заведующим отделом кадров ЦК республики. Но друг юности вождя был полуграмотным, он не понимал, чего от него хотят, и все время просил отпустить назад в сапожную мастерскую. Так прошло полгода. Убедившись, что из этого человека большого начальника не получится, его вернули на прежнее место.

Корифей всех наук и философия

После ареста Стэна Сталин без указания автора включил конфискованную у него при обыске статью о диалектике в «Краткий курс» истории партии в качестве четвертой главы, обработав и огрубив первоначальный текст. Позже Сталин присвоил себе авторство этой исковерканной стэновской работы.

Угадал

Во второй половине 30-х годов Сталин вызвал философа Марка Борисовича Митина и показал ему статью.

— Это написал один старый партиец и попросил меня ознакомиться. У меня нет времени, и я прошу вас посмотреть и оценить, все ли здесь правильно.

Дни и ночи с риском ошибиться изучал Митин эту работу. Наконец, он сказал Сталину:

— Это гениальная работа. Она написана человеком, находящимся на вершине марксистской философии.

Сталин улыбнулся и признался, что работа принадлежит ему. Это была философская глава «Краткого курса» истории партии.

Чутье царедворца не подвело Митина. Он преуспел, стал академиком и долгие годы имел целый штат людей, писавших «его» философские труды. Однако поскольку рабский труд непроеизводителен вообще, а в сфере духа в особенности, все его работы умерли задолго до смерти самого академика.

Кругозор обезьяны

Сталин сказал, что когда обезьяна слезла с дерева, ее кругозор расширился от прямохождения и она стала человеком. Один академик возразил: да, но с дерева больше видно. Его арестовали. Другой академик сказал, что его коллега пошутил. Сталин изрек: шутка — вещь серьезная, а если не серьезная, то просто смешная. Второго академика тоже арестовали.

Ориентация в пространстве

Художник, собиравшийся работать над историческим полотном, спросил у Гронского:

— Вы присутствовали на квартире Горького при беседах Сталина с писателями. Скажите, пожалуйста, где сидел Сталин во время этих бесед?

— Это очень легкий вопрос. Сталин всегда и везде садился лицом к двери. Он не любил сидеть к двери спиной.

Плагат

Виктор Шкловский рассказывал мне в мае 1971 г. в Переделкино, что афоризм

«Писатели — инженеры человеческих душ» был высказан Олешей на встрече писателей со Сталиным в доме Горького. Позже Сталин корректно процитировал эту формулу: «Как метко выразился товарищ Олеша, писатели — инженеры человеческих душ». Вскоре афоризм был приписан Сталину, и он скромно примирился с авторством.

Поручение

Во время Первого съезда писателей Фадеев подошел к Олеше и сказал: — Приветствие товарищу Сталину хорошо было бы зачитать вам. Он вас любит.

Олеша согласился.

Отработка методов следствия

В 1931 году Сталин в связи с делом меньшевиков Суханова, Громана, Шери и других сказал начальнику Экономического управления НКВД: «Навалитесь на них и не слезайте до тех пор, пока они не станут сознаваться!»

Законность вне закона

Старейший революционер, один из основателей партии, сидевший на II съезде в президиуме рядом с Лениным, Петр Ананьевич Красиков в 1921 году стал заместителем наркома юстиции, в 1924 году прокурором Верховного суда, а в 1933 году Красикова назначили заместителем председателя Верховного суда СССР. Вскоре домашние заметили в нем перемену: он бывал то нервно возбужден, то задумчив, а то начинал заговариваться или разговаривать сам с собой. В остальном вел себя нормально.

Однажды Красикова пригласил к себе Сталин, и юрист в лучшем костюме отправился на аудиенцию. Во время беседы он сказал Сталину, что ему приходится подписывать много протоколов и приговоров по несправедливым обвинениям и часто уже постфактум, когда человек расстрелян или сослан, судя по делу, невиновен. Сталин спросил: «Вы так думаете?» Красиков подтвердил. Тогда Сталин на его глазах вычеркнул его из списка членов ЦИКа. Красикова и его семью переселили из привилегированного правительственного дома. В 1939 году ему предложили поехать в санаторий, где Красиков и умер при странных обстоятельствах.

Покушения

Несколько раз начиная с 1925 года на Сталина якобы готовились покушения. Однако всякий раз перед тем, как в его письменном столе или в салон-вагоне обнаруживалось взрывное устройство, из Музея революции исчезал экспонат — адская машина начала века (без взрывателя). Это была инсценировка или во славу Сталина (какой борец!), или во славу ГПУ (умеет раскрыть любой «заговор!»).

ДЕЛО КИРОВА

Обреченный

Владимир Петрович Затонский председательствовал в счетной комиссии на XVII съезде партии, состоявшемся в конце января — начале февраля 1934 года. Голосование оказалось неблагоприятным для Сталина. У Кирова ситуация была много лучше. Растерянный Затонский посоветовался с Кагановичем. Тот поговорил с Молотовым и Сталиным и велел сообщить подложные результаты голосования. Затонский это сделал. В знак благодарности в 1938 году его арестовали. Когда его уводили из общей камеры на заседание тройки, он отдал свой пиджак и свитер сокамерникам со словами:

— Мне не на что надеяться: я был в счетной комиссии XVII съезда партии.

Страсти вокруг власти

Во время XVII съезда Киров поделился со Сталиным:

— Группа делегатов предлагает мне взять власть и стать генсеком.

Сталин ответил:

— Ну что же, если можешь, возьми . . .

В конце съезда Киров сказал, что Сталину придется посчитаться с голосованием не в его пользу. Сталин пригрозил Кирову, что сотрет его в порошок. Киров пожаловался в Комиссию партийного контроля. Куйбышев, к которому попала эта жалоба, начал всерьез ею заниматься, однако вскоре, в 1935 году, умер. Погиб и Киров.

В свете этих преданий трудно понять восхваляющую Сталина речь Кирова на съезде.

Роковое опоздание

Поэтесса Инна Лиснянская рассказала, что в детстве, летом 34 года, она присутствовала при разговоре Саркисова, Кирова и Микояна. Впрочем, Микоян читал газету и молчал. Саркисов говорил:

— Как мог всплыть Берия? Во время революции выяснилось, что он — провокатор. Его поймали, посадили. Однако Багиров его выпустил. А теперь Берия с помощью своей Нинки-подстилки делает карьеру. (Лиснянская говорила, что долго и тщетно пыталась выяснить у домработницы, что значит «подстилка». Имелось в виду, что Берия свою молодую и красивую жену Нину передавал Сталину.)

Киров сказал:

— Теперь об этом поздно говорить.

Для Кирова действительно было поздно говорить об этом: 1 декабря 1934 года его убили.

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

Одно из объяснений

Леонид Осипович Утесов объяснял смерть Мейерхольда и Бабеля так: Сталин не любил знаменитых людей, которые своей славой не были обязаны ему. Только из рук Сталина слава должна была приходиться к человеку.

Наслаждаться, так всласть!

Крупных партийных деятелей, которые были осуждены как враги народа, Сталин приказал фотографировать в момент расстрела. Потом он любовался этими снимками.

Главный следователь, прокурор и судья

Сталин не только давал указания об арестах, но и внимательно следил за ходом следствия по делу многих видных большевиков, просматривал протоколы допросов. Известны случаи, когда он лично допрашивал некоторых из арестованных и устраивал у себя в кабинете очные ставки.

— На допрос к Сталину привели Станислава Косиора, — рассказывал Григорий Иванович Петровский. — В кабинете были Молотов, Каганович, Ворошилов. Косиора посадили на стул. Он сидел подавленный, было видно, что перенес немало. Петровский спросил Косиора: «Стасик, зачем ты клеветешь на меня и себя?» Косиор ответил: «Я дал показания и от них не откажусь». Тогда Сталин торжественно заметил: «Вот видишь, Петровский, а ты не верил, что Косиор стал шпионом. Теперь ты веришь, что он враг народа?» На это Петровский ответил: «Да, верю, он такой же враг, как и я». Тогда Сталин велел принести дело Петровского и показания на него Косиора. Следователь внес дело, и в нем оказалась всего одна бумажка. Сталин раздраженно спросил: «И это все?» Ему ответили: «Да, все».

После этой очной ставки Петровский уехал на Украину, где его отстранили от работы, отняли квартиру и дачу.

Показания неизбежны

Между Сталиным и следователем, отчаявшимся получить показания от арестованного, произошел такой разговор:

Сталин. Каков вес Советского Союза?

Следователь. Он должен выражаться в астрономических цифрах.

Сталин. Может ли какой-либо человек выдержать этот вес?

Следователь. Нет.

Сталин. Значит, показания будут.

Порядок

Обычно Сталин не подписывал бумаги об арестах и казнях, уступая это другим руководителям. В личной компетенции Сталина оставались только члены ЦК и Политбюро. В репрессиях тоже была своя номенклатура и иерархия, свой бюрократический распорядок, своя бухгалтерия. И все же в 1937 году Сталин лично подписал около 400 списков с сотнями фамилий приговоренных к расстрелу в каждом. Им были узаконены расстрелы несовершеннолетних и пытки.

В 1937—1938 годах было арестовано 4700 тысяч человек, из них 800 тысяч приговорено к смертной казни. Эвфемизмом расстрела, зашифровкой смертного приговора была формула: «десять лет без права переписки».

Предсказание обреченного

Обреченный Буду Мдивани, председатель Совнаркома Грузии, сказал допрашивавшему его следователю:

— Сталин не успокоится, пока всех не перережет, начиная от своего непризнанного ребенка и кончая своей слепой прабабушкой. Это так. Я знаю Сталина тридцать лет.

Что посеешь . . .

Сталин лично допрашивал Павла Петровича Постышева. Он тряс его за плечи и кричал:

— Кто ты, Постышев?! Признавайся! Кто ты есть?!

— Большевик, товарищ Сталин, большевик я.

А лет за десять до этого на XV съезде партии Постышев кричал те же слова в лицо Раковскому. И сам Постышев, и зал, и голоса из зала отвечали:

— Большевик Раковский, предатель!

Мой отец рассказывал, что милый и всеми любимый Постышев, будучи первым секретарем ЦК Украины, разрешил своей красивой любовнице-секретарше вписывать в уже утвержденные на расстрел списки неугодных ей лиц. И при всем том Постышев был один из немногих, кто вступился за Бухарина и Рыкова.

И тот же Постышев в начале 30-х годов установил на Украине обстановку террора, уничтожившего многих политических деятелей и работников культуры. По вине Постышева сталинский 1937 год начался на Украине досрочно. Одно из преданий говорит, что Постышев был внезапно арестован и расстрелян, потому что он невольно оказался приобщенным к тайне: один из работников НКВД наткнулся в Киеве на архивный документ о сотрудничестве Сталина с охранкой в 1906—1912 годах. Впрочем, чтобы погибнуть, Постышеву не нужно было ни заступаться за несправедливо арестованных, ни знать секреты биографии Сталина, достаточно было быть незаурядной и популярной личностью.

Недоброе предзнаменование

Незадолго до гибели Орджоникидзе на него было совершено какое-то странное покушение, в результате которого он был ранен. Есть даже снимок Орджоникидзе в чалме. После этого покушения жена Орджоникидзе сразу же позвонила

Сталину. Он прибыл и сказал, что дело нужно будет расследовать. Однако расследования не было, не было и сообщений в прессе.

Гнев соратника

Однажды Сталин пригласил на обед Орджоникидзе и старого большевика Ш. Сталин, умевший это делать виртуозно, грубо оскорбил Орджоникидзе. Тот вспылил, подскочил к Сталину и стал его душить. Они вместе упали на ковер. Сталин задыхался и хрипел. Орджоникидзе отпустил его и, в гневе хлопнув дверью, ушел. Ш. подскочил к лежащему Сталину, стал брызгать ему в лицо холодную воду и приводить его в чувство. Позже старые большевики кляли Ш. за то, что он на погибель народам спас вождя народов.

Гибель

Сразу же после самоубийства Орджоникидзе, среди ночи его жена позвонила Сталину:

— С Серго то же, что с Надей.

— Хорошо, мы сейчас будем.

Помощник Орджоникидзе быстро ушел, чтобы не оказаться свидетелем событий.

Вскоре Сталин вместе с Молотовым, Кагановичем и другими соратниками прибыл на квартиру Орджоникидзе. Приехали сюда и врачи. Они констатировали смерть и вопросительно смотрели на Сталина. Помолчав, он сказал:

— Очевидно, сердечный приступ.

Жена Орджоникидзе запротестовала:

— Серго боролся за правду, и о нем нужно сказать народу правду.

— Молчи, дура.

Орджоникидзе погиб за два дня до февральско-мартовского Пленума, на котором должно было слушаться дело Бухарина. Пленум перенесли на четыре дня.

«Не я». А кто же!

Орджоникидзе находился дома. Его жена разговаривала по телефону. Мимо нее прошел в кабинет наркома его помощник Б-ов и сообщил, что происходит что-то неладное: или на него — Орджоникидзе — готовится покушение, или его собираются арестовать. Помощник быстро ушел, а вскоре явился новый шофер. Жена Орджоникидзе открыла ему и, на минуту прервав телефонный разговор, поинтересовалась, где же старый. Получив какой-то маловразумительный ответ, она вернулась к прерванному разговору. Шофер прошел в кабинет. В это время там раздался выстрел, и шофер попятился из комнаты, держа обе руки впереди себя и как бы отталкиваясь ими от воздуха. При этом он с отчаянием твердил: «Это не я, это не я, это не я...» Он вырвался из двери и побежал вниз. Что означали эти слова? Он сам застрелился? — или — Мне приказали это сделать?

Нас не касается

В 37 году Ока Городовиков сказал Буденному:

— Семен! Берут всех подряд! Что же будет?

Буденный ответил:

— Не всех, а только умных. Нас с тобой это не касается.

Несостоявшийся арест

Во второй половине 30-х годов к загородному дому Буденного подъехали машины. Из них стремительно выскочила группа захвата и оцепила дачу. Маршал приказал своим ординарцам и адъютантам занять круговую оборону. В окна выставили пулеметы, из которых открыли огонь. Прибывшие залегли, прячась за деревья. Сам Буденный побежал к телефону и доложил Сталину обстановку. Сталин спросил:

— Полчаса продержишься?

— Думаю, продержусь.

— Хорошо.

Через полчаса прибыла еще одна машина, и гости были отозваны.

Сталин позвонил Буденному и, узнав, что все в порядке, сказал:

— А пулеметы ты сдай.

Два пулемета Буденный сдал, но четыре все-таки оставил на чердаке.

Арест Гая

Настоящее имя командира железной дивизии Гая — Гайк Бжишкян. Это его дивизия взяла ко дню рождения Ленина его родной город — Симбирск. Во второй половине 30-х годов он жил и работал в Белоруссии и был женат на белоруске. Однажды пришли работники НКВД, арестовали его и выслали в теплушке с эшелонном в Сибирь. По дороге Гай — по преданию — бежал и добрался до Москвы, до самого Сталина. Гай начал жаловаться вождю, что его — героя гражданской войны — арестовали и, наверное, Сталин ничего не знает о том, что происходит. Сталин здесь же, в своем кабинете, застрелил Гая.

Арест Примакова

Во второй половине 30-х годов Сталин вызвал в Москву героя гражданской войны, руководителя красного казачества Примакова. Тот выехал с двумя адъютантами и заместителем. В дороге — техника была отработанная — в вагон вошло несколько человек, кто в штатском, кто в военной форме, чтобы арестовать Примакова. Он воскликнул:

— Какой арест?! Я еду по вызову товарища Сталина!

— Ничего не знаем, у нас ордер на арест и предписание.

— А ну, хлопцы, — обратился Примаков к своим адъютантам, — покажем этим переодетым белогвардейцам, что такое красные казаки!

Хлопцы скрутили и повязали ремнями всю команду, прибывшую на задержание. На ближайшей станции Примаков сдал «белогвардейцев» властям.

Идейный и наивный Примаков не был приобщен к большой политике. Он тут же позвонил Сталину и сообщил, что на него совершено нападение переодетыми белогвардейцами, которых удалось задержать и сдать в НКВД. Он же — Примаков — ждет дальнейших указаний. Указание последовало: ехать дальше, а насчет белогвардейцев не беспокоиться — ими займутся.

В Москве на вокзале героя гражданской войны встретила более внушительная и более расторопная команда «переодетых белогвардейцев». Примаков и его сопровождающие были арестованы и препровождены в НКВД. Больше их никто никогда не видел.

«За кулисами»

Всеволод Иванов был в Октябрьском зале Дома союзов на одном из заседаний большого политического процесса. Допрашивали Ягоду. Писатель сидел в первых рядах и обратил внимание, что в стене над судьями расположены иллюминаторы, затянутые голубой тканью. «И вдруг я решил, что за голубыми иллюминаторами кто-то есть», — рассказывал Иванов. Когда звучало последнее слово подсудимого Ягоды, в одном из иллюминаторов вспыхнула спичка и возник знакомый силуэт человека, прикуривающего трубку.

«Не вытекает»

Поскребышев посмотрелся на преуспевание высшего партийно-чиновного круга и решил тоже кто-что приобрести. Заикнулся Сталину, тот велел написать заявление. Сидит Сталин, смотрит на заявление, водит синим карандашом, пометки ставит, тихо ворчит:

— Так, дачу, значит, хочешь, машину хочешь... Дача ему, видите ли, понадобилась...

Поскребышев холодеет от ужаса. Неожиданно Сталин размашисто пишет: «Удовлетворить». Поскребышев радостно берет в руки бумагу и вдруг от избытка

чувств чмокает Сталина, неловко попадая поцелуем за ухо вождя. Тот на мгновение теряется и удивленно говорит: «Не вытекает».

Интервью

Перед открытием метрополитена главный редактор «Вечерней Москвы» сообщил, что следующий номер будет посвящен откликам трудящихся на это славное событие. Сотрудники разошлись собирать отклики. В кабинете редактора задержался репортер Трофим Юдин: ему в голову пришла сногшибательная и дерзкая мысль взять интервью у Сталина, совершившего накануне ознакомительную поездку в метро. Он подошел к вертушке и сделал вызов. Ответил сам Сталин.

- Здравствуйте, товарищ Сталин, это говорит работник «Вечерней Москвы».
- Кто-кто?
- Трофим Юдин, товарищ Сталин, из газеты «Вечерняя Москва».
- Что вам надо, товарищ Юдин?
- Я хотел бы взять у вас интервью, как вам понравилось метро.
- Записывайте: метро понравилось. Московское метро лучшее в мире. Сталин.
- Спасибо, товарищ Сталин.
- До свиданья, товарищ Юдин.

Когда об этом интервью узнал главный редактор, он растерялся: печатать страшно — вдруг Юдин врет, не печатать — нельзя: вдруг это действительно слова Сталина. Редактор неистовствовал:

- Ты мне добудь подтверждение, подпись, не то уволю!
- Тогда Юдин, уловив момент, снова позвонил Сталину:
- Меня увольняют — не верят.
- Скажите, что я не велел вас увольнять.

Юдина не уволили, и он пересидел в газете не только этого редактора, но еще шестерых.

Двадцатая ступенька

1937 год. Двадцатая годовщина революции. Арестовали Осю — брата Льва Кассиля, автора «Кондута и Швамбрании», работавшего в «Известиях». Сразу же вызывает его приятель — ответственный секретарь редакции и спрашивает:

- Лева, есть у тебя удостоверение?
- Есть.
- Покажи.

Приятель берет удостоверение и бросает в стол.

- К сожалению, ты уволен.

Со дня на день писатель ждал ареста. На всякий случай приготовил вещи. Сидел дома и считал ступени. От входа до его квартиры девятнадцать. Как только за дверь слышен шаг на двадцатую ступеньку — значит, мимо. От нервного напряжения стали выпадать волосы. Телефон молчал: знакомые и приятели боялись звонить. Однажды вдруг раздался звонок:

- Лева, поздравляю, тебя наградили орденом «Знак Почета».

Кассиль возмутился:

- Нашел время шутить.
- С досадой бросил трубку.

Вскоре раздался новый звонок. Опять поздравление. Потом позвонили из Союза писателей и пригласили на митинг по поводу награждения группы писателей орденами.

Фадеев рассказал, что Сталин просмотрел список писателей, представленных к награждению, и спросил:

— А где тот молодой писатель, который в 1932 году на встрече у Горького лезгинку танцевал?

Фадеев воскликнул:

- А, Лев Кассиль! Он пишет.
- Почему его нет среди награжденных?
- У него брат арестован, товарищ Сталин.
- Товарищ Фадеев, Союз писателей создавали, чтобы вы защищали писателей от нас, а нам приходится защищать интересы писателей от вас.

Старичок, испугавший Сталина

Был прием по случаю окончания декады таджикского искусства. Присутствовали Сталин, члены таджикского правительства, деятели искусства и литературы. Сталин встал и предложил тост:

— За великий таджикский народ, за его замечательное искусство, искусство Хайяма и Рудаки, Фирдоуси и . . .

Тут сидевший в конце стола маленький щедедушный старичок закричал:

— Бираф! Старый литературоведение капут!

На минуту все в ужасе замерли. Но Сталин сделал вид, что ничего не произошло, и начал тост снова:

— За замечательное таджикское искусство Хайяма и Рудаки, Фирдоуси и Джами . . .

Старичок снова закричал с другого конца стола:

— Бираф! Старый литературоведение капут!

Снова все в ужасе замерли. Старичок же вскочил и решительно направился к Сталину. Тот в страхе попятился, а потом полез под стол. Тут же два молодых человека в штатском скрутили старичка. Сталин вылез из-под стола, сделал вид, что искал там трубку, и вновь спокойно расположился в своем кресле. Он обратился к секретарю ЦК Таджикистана Гусейнову, сидевшему около него, за разъяснением, что означают эти неорганизованные выкрики и кто такой этот агрессивный старичок. Гусейнов разъяснил:

— Старик этот известный писатель и литературовед Садрриддин Айни. Он кричал: «Браво! Старому литературоведению пришел конец!» Айни много лет утверждал, что Фирдоуси таджикский поэт и спорил об этом со сторонниками старых литературоведческих школ. Теперь он приветствует высказывание Сталина о принадлежности Фирдоуси к таджикской литературе.

Сталин вышел из-за стола и при напряженном молчании присутствующих приблизился к все еще скрученному аксакалу. По знаку бровей вождя старичка отпустили, Сталин у него спросил: «Вы кто?» Аксакал подобострастно склонился перед Сталиным, как перед падишахом, и сказал, что он недостойный Садрриддин Айни. Сталин, уже получивший необходимую справку, спросил: «Айни — это псевдоним, а как ваша настоящая фамилия?» Айни сказал: «Садрриддин Саид-Мурадзода». Тогда Сталин протянул ему руку и сказал: «Будем знакомы. Джугашвили».

Сталин и Барбюс

Анри Барбюс полностью принял сталинизм и сказал: проблемы репрессий сводятся к тому, чтобы найти минимум, необходимый с точки зрения общего движения вперед. В 1935 г. Барбюс опубликовал публицистическое произведение «Сталин», восхваляющее заглавного героя этой книги. В этом же году Барбюс последний раз посетил Советский Союз. Здесь он и умер 30 августа. Существует легенда, что Сталин «убрал» Барбюса: боялся, чтобы он не отрекся от своей книги. Дело было сделано и воспевший вождя писатель был уже не нужен.

Сталин и Ромен Роллан

Ромен Роллан симпатизировал нашей стране. Он находился в долгой дружеской переписке с Горьким, а приехав в Москву, часто с ним встречался. Французский мэтр заметил, что его русский коллега грустен и несвободен в общении. Откровенно поговорить Роллану и Горькому не удалось. По сталинскому указанию писателей всегда кто-то сопровождал.

Эпилог большого террора

В 38 г. Сталин сказал: «Чего бояться. Надо работать».

Таков эпилог большого террора. Однако большой террор, раз начатый во имя власти Сталина, не мог кончиться совсем иначе как с концом сталинщины. Из большого он становился не очень большим, средним, полусредним, но никогда не делался маленьким и порой вновь разгорался до большого.

Латышский поэт Вилис Плудонис (настоящее имя — Вилис Лейниекс) родился в 1874 году в Курляндской губернии на хуторе Лейниеки в крестьянской семье. После окончания Бауской городской школы учился в 1891—1895 годах в Балтийской учительской семинарии в Кулдиге. Первый сборник стихов В. Плудониса «Первые аккорды» вышел в 1895 году. С 1895 г. В. Плудонис работал учителем. В 1933 году оставил педагогическую работу и целиком посвятил себя литературной деятельности.

Умер Вилис Плудонис в 1940 году в Риге.

Русский читатель мог познакомиться с поэзией В. Плудониса еще в 1917 году, после выхода в Петрограде под редакцией В. Брюсова и М. Горького «Сборника латышской литературы». Произведения В. Плудониса для этого сборника перевели Александр Блок и Владислав Ходасевич. В течение дальнейших 70 лет произведения латышского поэта-классика в переводе на русский язык издавались как в составе всевозможных сборников и антологий, так и отдельными книгами: «В солнечные дали» (1959), «Избранное» (1970).

В. Плудонис — мастер баллады, поэмы, лирики, поэтического перевода, стихотворений для детей. Широкую известность получили его произведения «Реквием» (1899), «Два мира» (1899), поэмы «Сын вдовы» (1900), «В солнечную даль» (1912), баллады: «Тайна болотного луга» (1912), «Юмис-мститель» (1910) и — «Улов салгальского Мадиса» (1914), которую мы предлагаем нашим читателям о новом переводе Давида Самойлова.



Вилис ПЛУДОНИС

УЛОВ САЛГАЛЬСКОГО МАДИСА

Перевел Давид САМОЙЛОВ

И в ярости Мадис-младший двинул по столу кулаком:

— Пора уж, пора, чтоб Межотненский замок не находился
под чужаком!

Виестур-вождь подойдет туда к вечеру с терветскими бойцами.

А мы под первые петухи с нашими молодцами.

— Будь здоров, отец! Немецких вин отведать нам предстоит!

— Да хранят тебя боги! Слово Перкона крепко еще стоит...

* * *

Смутен встал с постели старый Мадис,
Плохо слушаются руки-ноги,
И меньшого Гайдиса он будит,
Что румяным яблочком с постели
Скатывается и лук хватает.

— Лук оставь, пойдем со мною, Гайдис,
Сходим к речке за зеленой щукой,
Чтоб отцу на стол ее поставить,
Когда из-под Межотне вернется,
Будет он доволен угощеньем.

И выходят старый Мадис с внуком
Из лачуги. Влажными перстами
Лица трогает туман осенний.
На плече поддерживая невод
Левою рукой, а в правой — верша,
Медленно старик с откоса сходит,
Рядом Гайдис скачет жеребенком,
Подхвативши пару белых весел.
Ветерок над Лиелупе взлетает;
Алая заря горит над лесом;
Как кровавый пар туман клубится.
В челн они укладывают снасти,
Веслами отталкивают берег.
Челн отчаливает неохотно,
Дескать, в эку рань его тревожат.
И разбуженная голосами,
Вскрикнув с перепугу, над водою
Поднимается речная ржанка.
И в тумане тает. Все стихает.
Только мягкое плесканье весел
Мягко нарушает тишь речную.

Нету нынче Мадису везенья:
Десять раз закидывает невод,
Все пустой приходит он на берег,
Принося поддонный ил зеленый,
Водоросли бурые, а также,
Ненароком, черную корягу.
Внуку чудится в ней жук огромный,
Растопыривший рога с угрозой.

— Отвернулась Лайма, нет удачи, —
Почесав в затылке, молвит старый. —
Уж не потонула ль наша Лайма?
Либо Матерь вод на нас серчает?
Мало ли ее мы одаряли! —
Солнце на небесную вершину
Взобралось, глядит оттуда в реку.
В огорченье сплюнул старый Мадис,
Снова переворочил весь невод.

— Сглазили враги, недоброхоты!
Ведьмаки, волхвы заколдовали! . . . —
И, ногою оттолкнувши невод,
Он присел на берегу угрюмо
И в поток печально загляделся.

Вдруг он слышит чей-то шаг негромкий,
Оглянулся — перед ним прохожий,
Некий путник в черном одеянье,
Только на груди алеет роза.
С ним поздравствовался незнакомец.
— Как дела, — спросил, — и как удача?
— Ах, гостек, пустые нынче сети,
Матерь вод упрятила всю рыбу,

Так что даже не видать чешуйки . . . —
Усмехнулся путник. Черной тенью
Солнце затаило. С тяжким вздохом
Снова налетел осенний ветер
И повеяло могильным тленом.

— Что ж, закинь-ка на мою удачу:
У меня улов всегда богатый . . .

— А откуда ты, путник, будешь?
— Я с погостья.

— Где ж такая местность?

— На верховье. Весть несут оттуда.

— Не из Межотне? А весть какая?

— Добрая. Увидишь скоро сына. —

Молвил и пошел своей дорогой
И как тень исчез за поворотом.
Скрылся он. И долго старый Мадис
Вслед глядел ему недоуменно.
А потом, как ото сна очнувшись,
По щекам и лбу провел ладонью.
И опять в челнок он грузит невод,
Чтоб его закинуть напоследок.
На чужое счастье. Снова весла
Плещут, челн стремится, оставляя
За собою светлую полоску.

Золоточешуйчатые щучки,
Бойкие голавлики, страшитесь!
Бойтесь грустноглазые плотвички:
Сеть для вас раскинула объятья!

Рыбари увлечены уловом
И не замечают, как сгустился
Сумрак в голом ивняке; как солнце
Небо окровавило закатом;
Как вороньи стаи пролетели
На покой; и как голодным воем
Перекликнулись в чащобе волки.
Лишь когда над головою страшно
Ухнул филин, поползли мурашки
По спине у мальчика, а старец
Сплюнул и пробормотал проклятье.

В берег челн со скрежетом уперся,
Выскочили рыбаки на берег
И за крылья невода схватились,
Волокут обеими руками,
Чтоб свести те крылья воедино.
Тяжкий невод из воды выходит,
Драгоценный груз не выпускает.
— Вишь, предрек удачу незнакомец! —
Молвил старец и нетерпеливо
Смотрит, как мотня из вод выходит.

Тянет он с веселою надеждой,
Вытащил — и видит тело сына.



Репродукция
картины
В. Маковского
«Рыбак»

РИГА ПОЛТОРА ВЕКА НАЗАД: РОМАН С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

«Удильщик на Двине» относится к тому виду литературы, который ведет у нас свое происхождение от знаменитого сборника «Физиология Петербурга» (1845), обязанного своим появлением Белинскому и Некрасову. Сложился же он в ходе развития газетного дела.

С возникновением газеты, рассчитанной на широкого читателя, которого можно было удержать только чем-то интересным за малую подписную плату, появился тот жанр беллетристики, который получил название «роман-фельетон». Своеобразие этого жанра заключалось в том, что здесь совмещалось то, что невозможно было совместить на страницах альманахов, толстых журналов, сборников, рассчитанных на взыскательную публику. Здесь уживались и романтические клише и сочный натурализм, стремительно мчащийся сюжет и обстоятельные замедления, дающие описание быта и нравов, центральный герой — демоническая личность, тогда как вокруг теснятся реальные типы.

Наглядным образцом такого газетного романа были «Парижские тайны» Э. Сю и «Граф Монте-Кристо» А. Дюма. У нас наиболее типичным образцом является роман Вс. Крестовского «Петербургские трущобы».

Что еще было характерно для романа-фельетона? То, что автор сплошь и рядом импровизировал. Он лишь имел общий замысел, а как замысел будет воплощаться в ближайших номерах газеты, оставалось тайной для него самого. Опытному читателю было интересно наблюдать, как автор вывернется из хитросплетений, напутанных в предыдущих номерах. И автор не церемонился — одним махом разрубал узлы, вводил неожиданных спасителей...

Во вступлении к уже упомянутому сборнику «Физиология Петербурга» В. Г. Белинский писал: «... у нас совсем нет беллетристических произведений, которые бы в форме путешествий, поездок, очерков, рассказов, описаний знакомили с различными частями беспредельной и разнообразной России, которая заключает в себе столько климатов, столько народов и племен, столько вер и обычаев и которой коренное русское народонаселение представляется такою огромною массою, с таким множеством самых противоположных и разнообразных пластов и слоев... А сколько материалов представляет собою для сочинений такого рода огромная Россия! Великороссия, Малороссия, Белоруссия, Новороссия, Финляндия, остзейские губернии, Крым, Кавказ, Сибирь — все это целые миры, ори-

гинальные и по климату, и по природе, и по языкам и наречиям, и по нравам и обычаям, и особенно по смеси чисто русского элемента, из которых иные родственны, а иные совершенно чужды ему... Какая пища для ума наблюдательного, для пера юмористического!»

С большим или меньшим успехом подвизались на этом поприще описания своей страны многие авторы. Но больше всего их манил юг и восток. Остзейским губерниям, к сожалению, уделялось мало внимания. Считалось, что они сами себя в достаточной мере осветили на немецком языке. Но на русском встречались лишь редкие публикации, преимущественно белые путевые заметки.

«Удильщик на Двине» — первое произведение русского автора, наблюдающего русскую Ригу изнутри. Напечатана повесть была в 1877 году в газете «Рижский вестник» (редактор Е. В. Чешихин) под псевдонимом «Калика Перехожий». Следует заметить, что русскими профессиональными писателями Рига была небогата. Печатались в газете преимущественно дилетанты из числа гимназических учителей, офицеров, чиновников и образованных купцов. Одни из них в силу ношения мундира не могли ставить свое имя, другие откровенно стеснялись, а тем, кто выступал против местного «немецества», было просто небезопасно действовать с открытым забралом. Чаще всего ставили инициалы, а то и вовсе ничего не ставилось.

Перу «Калики Перехожего» принадлежит ряд публикаций, касающихся плавания по Западной Двине, описание некоторых городов Лифляндии и Курляндии. Чувствуется, что это не коренной местный человек, но в достаточной мере уже обжившийся здесь.

Вряд ли это был сам Е. В. Чешихин, иначе сын его Всев. Евгр. Чешихин, выпустивший в 1913 г. брошюру, посвященную памяти отца в связи с двадцатипятилетием со дня его смерти, раскрыл бы авторство, перечисляя все, что принадлежало его перу.

К сожалению, архив Е. В. Чешихина погиб во время первой мировой войны, и это чрезвычайно затрудняет установление авторства. А вдруг это сам издатель газеты Александр Федорович Еnochович? На какой-то след наводит указание в той самой памятной брошюре, что наиболее активными сотрудниками газеты были Мальцов, Желтов, князь Урусов и Штанге. Скорее всего это мог быть Иван Мокеевич Желтов, учитель русского языка и словесности, преподававший в Якобштадте, Дерпте и рижской Александровской гимназии. Кстати, в 1872 году эту же гимназию окончил с золотой медалью некий Александр Штанге. Как знать, может быть кто-то из рижских потомков названных лиц вспомнит о существовании семейного предания о том, что дед или прадед что-то пописывал и где-то печатался. Не кончились же все литературные находки с находками Ираклия Андроникова!

Разумеется, художественные достоинства повести более чем скромны, и публикуется здесь (в значительном сокращении) она не ради них. Ее надлежит рассматривать лишь как документ. И документ этот дает нам очень много. Начать с анекдотического толкования праздника Лиго на первых страницах, которое показывает, насколько слабо еще разбирались русские в латышских поверьях и мифологии. Но одновременно он свидетельствует о глубоком уважении автора к латышскому населению, если оно не заражено немецким духом. Один из главных героев — латыш, но это латыш-отщепенец, и, как всякий тип, отказавшийся от своего народа, он являет собою сосуд всяческой скверны. Во всяком острозащитном газетном романе с похищениями и разоблачениями всегда должен быть быть черный характер — преимущественно чужеземец или инородец. Таковы были законы жанра. Но и русские герои рисуются с известной долей иронии и подтрунивания, поскольку они не герои в прямом смысле этого слова, а люди маленькие, простые обыватели, скрашенные очарованием молодости. Из документа мы узнаем о том, где группировалось русское население Риги, как назывались по-русски окрестности ее, где веселились и как, куда ходили на богомолье, где лучше всего брала в те времена рыба, как строилась дамба в устье Двины и т. д.

Конечно, это не фотোগрафически точный документ, а скорее документ психологический, отражающий мировосприятие тогдашнего русского рижанина. В таком качестве он тоже имеет свою ценность.

Предисловие и публикация **Юрия АБЫЗОВА**

УДИЛЬЩИК НА ДВИНЕ

I. ЛИГО ЯНА

Небогата наша лютеранская Рига праздниками. Их, собственно, всего на все четыре: Рождество, Пасха, Пятидесятница и Лиго Яна, по-нашему Иванов день, 24 июня. Празднуются и другие праздники, церковные и национальные, но далеко не так торжественно, как вышеозначенные четыре праздника, торжествуемые по три дня каждый, или даже по четыре, если не больше, потому что после окончательного дня праздничного следует день так называемый зеленый, каковое название придумано ему и усвоено гезелями¹, на основании того, что у большей части их брата зелено в глазах с похмелья.

Но из всех праздников торжествуется светлее, веселее, разбитнее праздник Лиго². Не подлежит сомнению, что он есть остаток глубокой старины языческого мира. Древние ливы и летты, или наши латыши, любили особенно чествовать бога всякой радости, всякого веселья, Лиго; торжественно, в эпоху летнего солнцестояния, — т. е. в самое веселое время лета, время цветения, собирались целыми семействами у подножия одной высокой горы в Лифляндии, располагались шатрами на лугу, а потом ночью совершали процессию религиозную

на ту гору, заросшую дремучим лесом; принеши там жертву Перкуну, страшному богу грома, особенно Пекову (отсюда Пекло, ад), еще более страшному богу смерти и ада, возвращались и начинали общий пир с танцами. Яства, крепкий мед приносили все, кто сколько мог, и угощение шло общее. Здесь, под веселым настроением духа, совершались свидания друзей, родственников, любовников; совершались примирения враждующих; устраивались брачные союзы, совершались многие семейные дела, но отнюдь не общественные, так как веселый бог Лиго особенно недолюбливал серьезные дела и угождать ему, расположить к себе, чтобы снискать на целый год веселое препровождение времени, без болезней, без других потрясений, можно было только тем, чтобы до упаду веселиться на его празднике при священной горе. Других жертв, кроме разных цветов, он не вымогал от своих радостных поклонников, подобно другим богам, особенно ужасному и видом и характером Пекову.

Если разбирательство каких-нибудь общественных дел случайно и совпадало с праздником Лиго, то не прежде приступали к иным, как с окончанием торжества, которое старший народный вождь, т. е. вайнем, возвещал народу трубным звуком. Так по преданию поступил и знаменитый Иманта, последний народный вождь латышский, когда прибыл туда на праздник Лиго посланец ливов с просьбою о помощи против пришельцев заморских. Иманта не

¹ Гезель — подмастерье (нем.). Здесь и далее примечания публикатора.

² Толкование происхождения праздника строится на материале, воспринятом понаслышке из псевдонаучного источника.

прежде приступил к совещанию, как распутивши собрание. Так уважало веселье на этом празднике! С вольным, а более невольным принятием христианства латышами они не могли, конечно, позабыть такого доброго бога, который дарил им так много удовольствий; а так как невозможно же было, состоя в лоне христианства, допустить празднование богам языческим, то придумано перенести праздник Лиго на Иванов день, хотя то торжество должно было происходить несколько позднее. В последствии времени этот характер праздника не только удержался в своей силе, но получил большее развитие, именно вследствие ограниченного числа праздников в лютеранском мире. Умно соображено, что от чего же человеку, постоянно несущему тяжелый труд, ждать отдыха, самого веселого, не сделать ему, так сказать, отличной рекреации, основанной притом на предмете воспоминания?

Праздник Лиго в Риге начинается 22 июня на Двинском плавучем мосту и на городском берегу, который на-

зывается тогда цветочным рынком. На мосту гремит полковая музыка, корабли и лодки украшены венками, цветами, флагами; народу видимо-невидимо и на мосту, и на берегах, и на близлежащих улицах; все торопится на мост или на цветочный рынок, чтобы полюбоваться произведениями юной флоры, а то, пожалуй, и купить цветов, венков, душистых трав, чтобы в доме повесить их, вроде спасительного какого талисмана. На реке, на притоках ее, на Красной Двине, на рукавах около Заячьего острова, тоже движение, даже более живое, свободное, чем в городе, под влиянием полиции и приличия, которому, чем далее от центра их, тем более дается простора. Тут вы встретите люд, торжествующий на распашку. Впрочем, к чести торжествующих, необходимо сказать, что того безобразия, каким иногда сопровождаются праздники в иных захолустьях России, здесь почти не бывает. Вы встретите только люд обоего пола, увенчанный дубовыми венками. Люд этот, изрядно подгулявший, поет разные своего сочине-



Канун Иванова дня (Лиго) на Двинском рынке. Фото начала века. (Этот и все последующие снимки из собрания В. Эйхенбаума.)

ния куплеты, заключая их речитативом Лиго Яна. Люд этот в знак особенного внимания к вам, если вы того по их понятию заслуживаете, и вас увенчает подобным же гомеровским венком, чтобы получить от вас копеек пять-шесть на темную, а пожалуй и гривенник на пиво во имя Лиго Яна. Привыкшему к порядкам этих залолустьев не может не броситься в глаза эта некоторая, так сказать, чинность в бесчинстве. Здесь вообще умеют веселиться и простые люди, без особых возгласов и козлогласования. Конечно, нет нигде без исключений.

Такое именно исключение и случилось вечером того торжественного веселого дня за устьем Красной Двины, насупротив нынешнего великолепного, богатого, образцового пивного завода г-на Даудера, — места, бывшего тогда почти совершенно пустынным, — где одиноко возвышался, или лучше — принимался домик сторожа пограничной стражи, на песчаном берегу, обросшем корявыми соснами. Сотни лодок и лодочек сновали взад и вперед по этому бассейну, где зимой сотни удильщиков и «дергачей», т. е. блитовщиков¹ (об этом будет далеко ниже) упражняются ловлением окуней, плотвы, быстеры, ершей и других подводных обитателей. Куплеты с речитативом в честь Лигу Яну то и дело разрезывали густившийся воздух, потому что стояла несколько дней страшная жара. Тучи страшно насупились; вот и молния блеснула на далеком горизонте, там где-то за Двиною, дальше даже, где какой-то благочестивый немец поставил над беседкой, где в воскресенье с приятелями пьет бейриш², четырех чертей с рогами, хвостами и пр. Бесшабашный праздничный люд, однако, мало этим беспокоился, да что такое для него дождь, гроза? Да разве он не целый день там близ воды или в воде? И все продолжали спокойно свои не совсем-то гармонические мелодии, промачивая горло из временных питейных погребков, расположенных без взятия акцизных билетов. Только одна, очень маленькая и даже плохонькая лодочка торопилась как можно поскорее выбраться на берег, т. е. въехать в устье

¹ Блитовщики — по латышскому словарию blīne — блесна, но, вероятно, в латышский язык слово это попало из местного русского.

² Баварское пиво.

Красной Двины и достигнуть сажень через 50 известной всем пристани, где с незапамятных времен пристают утки, гуси, ренья, капуста, картофель и прочие овощи огородов, вод, полей, дворов, привозимые барышниками и хозяевами из ближайших местностей и островов, а иногда из чухонских обителей. Большая часть прибрежных жителей, не имеющих времени или возможности покупать необходимое для стола на рынке, спешит покупать здесь у случайных торговцев, в чаянии что они берут дешевле, чем на базаре. Жители думают, что каждый торговец уступает им много процентов; именно столько, сколько бы издержал их, приехавши со своим товаром на действительный рынок, а тот думает: ведь далеко до рынка, дойти туда ведь стоит столько же процентов. Возьму-ко их я сам! . . . И та и другая сторона довольны своими ображениями.

К этому-то тихому пристанищу спешила пристать наша лодочка, сядоки которой, как видно, были крайне озабочены нависшими тучами. В лодочке сидели старушка, мальчик и девушка. О старушке нечего сказать, кроме что старушка с добрым, симпатическим и набожным лицом, каким отличаются обыкновенно наши рижские русские жительницы низшего сословия, большею частью по происхождению принадлежащие первым сюда переселенцам — старообрядцам; мальчик, очевидно, сын ее, был лет 15, живой, бойкий, по летам довольно сильный; а девушка . . . Ну, о ней мы повременим что-нибудь сказать, покуда скажем только, что она была какая-то на десятом киселе внучка старушке и . . . порядочная красавица, но крайне избалованная! Ей было лет 17—18. Старушку звали Матреной Прохоровной, сына ее Петькой, или все равно — Петром Пахомычем, а малеванную нашу красавицу Машенькой, т. е. Марьей Гавриловной. Так мы и будем их чувствовать в нашем сказании.

— Вот, матушка, — брюзгливо отгрызнулась Матрена Прохорова. — Послушалась тебя и поехала на душегубке. А что проку? Только и слышала какого-то окаянного лигуяна да лигуяна . . . А вот, пожалуй, и дождь спрыснет. А сколько за лодку возьмут? . . .

— Милая бабушка, Иван Еруславыч обещался за лодку ничего не брать, только чтобы я ласково на него взглянула. А я этого не сделаю, потому



Сад богоугодного заведения на Александровской высоте

что он такой... смешной, противный, фи!..

— Уж ой ты мне, воструха! — воскликнула старуха не то со внушением, не то с одобрением. — В 17 лет ты можешь ночь под жерновым камнем провесть, а у меня силушки уж нет кататься по ночам на этих подлых душегубках. Да вот и Петьке чай досталось...

— Нет, мама, ничего не досталось. Я готов кататься хоть до полночи.

— Ладно, ладно, а вот как еще доберемся за Покровку этими темными улицами, особенно около Кумминговского сада.

— А я-то разве выдам вас? Да я за тебя, племянница, — так Петька в шутку называл Машеньку, — горой постою.

И старушка и красавица внучка не могли не рассмеяться при этой выходке 15-летнего геркулеса.

Однако напрасно хвалился Петька, вероятно и сам сознававший, что Куммингов сад есть порядочная теснина для путников им подобных в Иванов день.

Куммингов сад¹ в то время не принадлежал еще англичанину Куммингу, а русскому купцу — богачу и сибариту.

¹ Ныне территория Института травматологии.

Огромное пространство на берегу Красной Двины было обнесено (как и теперь) высоким забором, за которым был (как тоже и теперь) прекраснейший парк из дубового, ясеневого лесу и других деревьев. Но как на самых низменных местах красновдвинского берега между этим парком и дорогою, проходящею на нынешнюю Александровскую высоту¹, оставалось еще некоторое пространство, кусадыбе принадлежащее, притом довольно значительное, то и оно отделено от дороги таким же забором, в конце которого с одной стороны до другой устроена была чудная воздушная лестница, для прохода из дома через дорогу, поверх ее, в купальню на Двине. Таким образом между этими двумя заборами-стенами образовалась теснина, шагов около 500 длины, теснина, существующая и теперь, теснина и теперь небезопасная, особенно в темную ночь, особенно для запоздалых спутниц.

II. ОТЧАЯННАЯ БОРЬБА

— Стоп-машина! — раздался голос почти над самым ухом струсившей Машеньки, не привыкшей к выслушиванию таких повелительных наклонений.

¹ Ныне территория психоневрологической больницы.

Голос-рычанье вырвался из гортани Индрика Притца.

Кто же был этот человек? Это был прежде всего онемечившийся латыш, как и самая его фамилия показывает. Латыши вообще народ, достойный уважения, но только в деревне. Там латыш, лютеранин ли, православный ли, очень хороший человек, он вежлив, услужлив, вынослив, по-своему гостеприимен, набожен и в высшей степени честен. Сколько раз я проезжал и проходил латышиной и нигде и никогда не был обворовываем, обсчитываем, а везде охраняем, как родной, хотя ни слова не знаю по-латышски. О трудолюбии, о строгой бережливости в жизни, об умелости принаровиться к ней во всех трудных ее проявлениях свидетельствует то обстоятельство, что они несут и выносят благополучно многотрудные и многосложные обязанности прибалтийских крестьян с честью и благоумием, достойным всякого уважения. Еще и теперь, когда под семью замками надо запираить каждую копейку, во многих деревнях о запорах не заботятся.

Но зато латыши городские далеко не подходят под этот тип. Растлевающая жизнь большого города, обильного всеми родами соблазнов, решительно уничтожила их скромные, в высшей степени уважительные добродетели сельского характера. Извозчик из латышей не посовестится спросить с вас вдвое-втрое за провоз и почти всегда ответит: «Мало, господин», а при случае сделает с новичком и скандал, во избежание которого он отдаст это вдвое-втрое. Особенно нехороши те латыши, которые ломятся в немцы, которые немцами и быть не могут ни по воспитанию, ни по чувствам, ни по уму, но стыдятся своего происхождения, как будто в нем есть что-то хорошее, к счастью таких quasi-немцев немного здесь, очень немного, но все-таки есть или лучше сказать было, потому что мы пишем повесть из былого времени.

К числу таких quasi-немцев принадлежал и природный латыш г. Индрик Притц. Мальчиком поступил он к одному мяснику, где получал в звании бурша¹ плохое содержание и изрядное количество подзатыльников; все это вынес отлично хорошо, потому что судьба

наградила его мускулистым некрасивым лицом с выдающеюся нижею челюстью, рыжими, жесткими волосами, но сильным, почти атлетическим телосложением. Лучшей профессии он и выбрать не мог. Его бычья шея, его толстые, жилистые руки до колен, его двухаршинные плечи делали его одним из лучших адептов скотобойни. И действительно, он был примусом¹ своего заведения; в 17 лет он сразу забивал быка; со свиньей справлялся, как с теленком. Лет в 25 он женился на хозяйской дочери — немке; разумеется, отрекшись от всякой принадлежности к латышеству. При первых же родах жены он овдовел, сам завелся торговлю мясом, женился вторично, вторично овдовел, в третий раз женился и в третий раз овдовел, не имевши радости назваться отцом, потому что все три жены умерли в родах. И он, в описываемое время, пятидесятилетний, здоровый мужчина круглый, как отличная колбаса, помышлял жениться еще раз, только уж непременно на хоро-

¹ Первым (латин.).



Тип рижского торговца мясными изделиями

¹ В учениках, подручных (нем.).

шенькой и молоденькой, потому что все прежние жены были не очень моды и хороши и брал он их из чисто коммерческих расчетов.

Торговал он всем чем угодно. Покупал скот у прогонщиков, но отнюдь не на рынке, а большей частью где-нибудь далеко за городом, например за мостом Пильхауским¹, за 9 верст по Петербургскому шоссе. В тамошней корчме заседают десятки таких кулаков, в ожидании не повезет ли какой-нибудь эстонец, латыш чего-нибудь из леса, рыбы, масла, чтобы, подпоив его, заговорив ему зубы, купить у него подешевле, а в городе сбить подороже. По целым неделям высиживают они там, выслеживая свою добычу, попивая, поругиваясь, в азартные игры пускаясь. Индрик Притц часто бывал и на Дунь-озере и на других озерах в зимнее время — время улова рыбы. Там он тоже по нескольку дней, иногда неделю и более, выжидал улова ее, а выждав, скупал с прочими и отправлял в город, как будто сам рыболов. Но самое любимое его занятие было фабрикование маслом. Скупая масло за заставою или дальше, он не вез его на рынок, а отправлял домой, смешивал с салом, а в большие морозы с водою, прибавляя соли и таким образом увеличивал на много процентов его вес, вывозил возами на рынок, переодевшись крестьянином, будто продает из первых рук. Не прочь он был при этом откинуть, если случай представится, и какое угодно шахер-махерство. Напр. с ним был один такой случай. К нему подошел купить фаску² масла один прилично одетый господин, полагая, что имеет дело с настоящим мужиком. В цене сошлись, и он подал ему 25 руб. бумажку. Он развернул ее, посмотрел, сказал, что сдачи у него нет, но достанет у соседа, с которым действительно поговорил тут же в глазах покупателя, но затем возвратил деньги покупателю, заверяя его, что и у соседа нет сдачи и что ему лучше разменять деньги где-нибудь. Каково же было удивление покупателя, когда он, развернувши кредитную бумажку, увидел, что ему возвратили не 25-рублевую,

¹ Имеется в виду мост у хлопчатобумажной фабрики Пихлау на слиянии Киш-озера и озера Юглас (ныне швейная фабрика «Спартак», Юглас крастмала, 1).

² Фаска — очевидно, бочонок, от немецкого Fass — бочка.

а только 10 руб. Произошла суматоха, пошли или, лучше, повели покупателя в полицию, зачем-де он смеет честного человека обзывать вором. И покупатель рад-рад был, что только тем и отделался, что потерял 15 руб. ни за что, ни про что. Но зато ему в полиции преподали полезный урок, чтобы, подавая кулаку ассигнацию, особенно крупную, всегда развертывал ее перед носом его и громко произносил, что дает. И за то спасибо!

Таким образом г. Притц легким трудом, при отличной сноровке богател все больше и больше, богател и толстел, оттого что сыто ел и пил. Пьяным никто его не видывал, но в день осушивал по штофу да несколько бутылок пива, и это ему с рук сходило безнаказанно.

Вот этот-то Индрик Притц уж с год стал заглядываться на Машеньку; он ее случайно где-то встретил и стал преследовать своими любезностями. Машенька и сама была неправа тут. Имея изрядную долю кокетства, она не сохвещилась раздражать его романтические наклонности стрельбой глазками и т. п., чтобы подразнить, посмеяться, но в душе презирала. Получивши решительный отказ, он не только не смутился, но стал еще настойчивее. Знала ли об этом бабушка? Нет, девушка даже посоветилась и говорить ей об этом, а сам Индрик жил где-то за Двиной и вовсе не заботился о том, чтобы предстать старухе. В Иванов день, день свободный от занятий, он решил повидать свою кралю, но ему сказали, что она с бабушкой на Двине. Сам не зная зачем, и он отправился туда же вместе с двумя своими здоровеными буршами. Судьба, как мы уже знаем, поблагоприятствовала ему. Машенька, беззащитная, была в его руках, потому что тотчас, как он распознал, с кем встретился, скомандовал своим буршам — и вмиг семья была разлучена. Кричать было запрещено, да и кто бы услышал их крик в глухом переулке? Положение было критическое.

— Ну, моя красавица, — сказал он трепещущей девушке, коверкая страшно русский язык, как коверкал немецкий, представляясь немцем, — теперь надеюсь, ты не откажешь мне в чести и удовольствии быть моею женою и получить мне от тебя... задаточек, чтобы после не заупрямилась... Так ли?

— Кто вы и чего от меня хотите?

— Чего я хочу, об этом я уже ясно сказал тебе, миленькая, и, пожалуй, еще раз скажу: я хочу, чтобы ты была моею. А кто я, успеем познакомиться после. Завтра же я приду к твоей бабке для получения формального согласия. А теперь позволь расцеловать тебя!

Говоря это, он жал в своих медвежьих объятиях девушку и исполнял буквально слова свои. Началась упорная борьба. Но Машеньке ли было одолеть такого голиафа?

— Оставьте меня. Прошу вас ради Христа, ради спасения вашей души, не троньте меня, не делайте несчастной!

— Кто тебе сказал, что я сделаю тебя несчастною? . . . Да когда выйдешь за меня замуж, будешь барыней, в шелку, в бархате ходить, все удовольствия, все радости иметь. Я ведь требую задатку, собственно для того, чтобы ты не отказалась . . .

— Я не могу быть вашею женою . . .

— Ха-ха! Это мне уж знать, а не тебе.

— Но . . . я не буду.

— Будешь, будешь! Сама еще попросишь меня взять тебя замуж, чтобы прикрыть свой стыд! . . .

— Мы будем жаловаться . . .

— Ха-ха-ха! Боюсь я ваших жалоб. Да на кого ты будешь жаловаться? Кто свидетель? Не бабка же! Да она первая даст совет покончить дело миролюбиво.

— Изверг! Пусти меня . . . Помогите! . . . — крикнула Машенька в отчаянии.

Злодей уносил ее быстро куда-то, очевидно стараясь выбраться в соседний лес, и она снова стала с рыданиями, с силой отчаяния вырываться из его рук. Шляпка свалилась, волосы растрепались, и похититель принужден был остановиться, чтобы покрепче забрать ее, заткнуть рот платком и вздохнуть.

В суматохе ни он, ни она не слышали, как кто-то бежал к ним опрометью, задыхаясь.

— Стой, мерзавец! . . . — крикнул чей-то молодой здоровый голос. И за этим последовал такой удар палкою по голове г. Притцу, что будь кто-нибудь другой на его месте, он упал бы замертво, но Индрик Притц, обладая почти богатырскою силою, только пошатнулся, а не упал, не выпустил добычи; последовал другой удар, но и тот не подействовал. Началась ожесточенная борьба.

Неизвестный, с таким самоотвержением бросившийся на страшного бульдога человеческого рода, употреблял самые отчаянные усилия одолеть его, но бульдог стоял как дуб; страшная сила его только отчасти тем и парализовалась, что он не имел возможности пустить в дело свой пудовый кулак, — потому что левою рукою держал пленницу, а правую душил отважного противника. Теснее и теснее сжималось горло защитника. Положение стало критическим для неизвестного, тем более что великан, вероятно уже сообразивший, что дело его из рук вон плохо, если противник останется в живых, напряг свои мышцы, чтобы сокрушить его.

Вдруг великан заревел, словно укушенный бешеным волком. И действительно, его укусил — только не бешеный волк, а наш знакомец Петька. Двое буршей, сообщники Индрика Притца, схватившие его и старуху, вели их далее по направлению к порту, грозя утопить в Двине, если они осмеются крикнуть. Каким-то чудом удалось Петьке ускользнуть из рук здорового парня. Парень бросился догонять его, но юркий мальчик успел ускользнуть от преследователя. Да и этот последний не очень охотно гнался за ним. Он предполагал, что хозяин уже покончил свое дело, т. е. унес девушку или в лес или в лодку, которая на всякий случай стояла там, где была воздушная лестница, сводившая в купальню. Петька, собственно, нигде не прятался, он лег ничком посреди дороги и пластом лежал на ней в предположении, что не станут его искать тут, а отлежавшись, помчался к месту борьбы. Увидев великана, он схватил его за ноги, стал неистово кусать — и достиг своей цели: великан, испутив дикий крик бешенства, выпустил и пленницу, и ее защитника. Индрик сообразил, что шансы на победу потеряны, потому что хотя он мог бы удрать всех этих противников, но пленницу все-таки не мог бы залучить туда, куда хотелось. Кто-нибудь, хотя избитый, мог ускользнуть и донести полиции. Он предпочел удалиться, но уходя сказал:

— Помни, молодой барич, что я когда-нибудь с тобой расчитведу. А и ты, красавица, не минешь моих рук . . . Мы еще сойдемся, свидимся! Будьте здоровы и счастливы! . . .

— Машенька, Марья Гавриловна! . . . Как я рад, что все благополучно кончилось! . . . Но . . . как же вы . . . неосторожны . . .

— Иван Ерусланыч . . . Иван Ерусланыч . . . виновата пред вами! . . . Век не забуду вашей услуги . . . Не браните, сами знаете, какая я взбалмошная, — отвечала девушка.

Тучи страшно насупились, гром почти непрерывно гудел вдаль, капли дождя уже падали на путников. Петька быстро побежал вперед, чтобы догнать мамашу, выручить ее из беды, если нужно, или хотя бы порассказать о своем геройстве. Молодые люди остались одни, и они через минуту уже были в порту, близ «Каменного Мешка», так называется и поныне существующий тут кабак¹, где они уже могли считать себя свободными от всяких посягательств, потому что тут кроме кабака были уже жилые дома, особенно дом благочестивого купца Ф. А. Л.² Здесь можно было переждать, пока какие-нибудь запоздалые добрые люди, почитатели Лиго Яна, будут возвращаться домой, и к ним, к их компании присоединиться. А то, может быть, и извозчик попадетя, хоть на это нельзя было надеяться, потому что тогда извозчиков было очень-очень мало.

Иван Ерусланыч, человек по отзыву Машеньки противный, был вовсе не Иваном Ерусланычем и уж никак не противным. Он был очень приличный молодой человек, с умными чертами лица, симпатичною физиономиею, но еще, видимо, не созревший или, как в старину говаривали, не перебившийся. Он даже не сложился окончательно и, имея высокий рост при относительной худобе тела, походил на спичку, был очень высок ростом, — в силу чего и прозвал себя сыном известного сказочного богатыря Еруслана Лазаревича Иваном Ерусланычем. Лодку он имел секретно от своего дяди. И в этот достопамятный день Машенька у него попросила покатааться на ней с бабушкой. Иван Алексеич с удовольствием согласился на то, но с условием предоставить и ему удовольствие покатааться с ними. Машенька сначала согласилась, но когда бабушка стала ей давать наставления, чтобы она

вела себя поосторожнее с молодым человеком, чтобы люди чего не болтали, то Машенька, — ведь мы уже сказали, что она была очень избалованная, капризная, — наотрез отказала в удовлетворении его условия. Она сказала, что как ни желательно ей покатааться на Двине, но она будет сидеть дома, если он будет настаивать на своем условии. На замечание молодого человека, что кто же будет грести, Маша очень резонно ответила, что повезет их Петя. Петька действительно хорошо мог и грести, и управлять лодкою: он жил на водах придвинских и все свое свободное время употреблял на рыболовство и плаванье на лодке. Иван Алексеич оскорбился отказом, но не показал виду, что сердится, и дал им лодку, которая у него постоянно стояла в порту за замком на цепи под наблюдением сторожа, подрядчика госпитального. А сам отправился на цветочный рынок, где скоро забыл (ему было всего лет 25) и красавицу капризную, и ее проводников. Вечером, возвращаясь домой с приятелями, ехавшими в Красную Двину, потому что жили на Верманской лесопильной фабрике, он случайно натолкнулся на сцену вышеописанную. Еще издали услышал он коротко знакомый ему голос и поспешил к месту опасности.

Ивану Алексеичу очень нравилась Марья Гавриловна, и Марья Гавриловна очень нравилась Иван Ерусланыч, потому что оба были действительно хороши, но почти целая бездна разделяла их между собою. Оба они были богаты, как птички Божьи, и оба были только хорошими, но ни к чему неспособными людьми, которые однако ж очень хорошо понимали необходимость жить х о р о ш о. Вся надежда молодого человека заключалась в старом дяде-скупце, все сокровище Машеньки — в ее хорошенькой особе. Стало быть, им всегда на ум приходила теорема: бедным жениться лишь нищих умножать! Но Иван Ерусланыч никогда ни единым словом не заикнулся об этом. Он, словоохотливый вообще, даже многоглаголивый до легкомыслия, хранил на этот счет упорное молчание. Как же он не противный? Можно ли на такого человека взирать с улыбкою? Ни за что, никогда! . . .

Гроза между тем разыгрывалась не на шутку. Гром, так сказать, остановился почти у самого «Каменного Мешка», едва можно было сочесть от пяти до десяти между молниею и громом.

¹ Очевидно, имеется в виду торговый дом с питейным заведением купца Лелюхина.

² Возможно, анаграмма купца Алифанова.

Молния прорезывала воздух во многих местах, а гром был почти непрерывный. Дождь пошел как из ведра.

Наконец, когда уже почти добежали до «Каменного Мешка», молния озарила темень неба и раздался трескучий оглушительный гром, как будто самое небо все со своими звездами и планетами обрушилось над ними. Машенька судорожно схватилась за шею Ивана Ерусланыча, да так и обомлела. Вслед за ударом молния снова сверкнула, и при свете ее Иван Алексеич увидел, что на груди его прелестнейшее существо.

— Машенька, милая Машенька, — воскликнул он, когда она скоро оправилась от испуга и обморока, — о, как же ты хороша! Благодарю эту грозу, этот случай, которые свели меня с тобой . . . Клянусь этими громами небесными, что век не разлюблю. Пусть они убьют меня, если я лгу! . . . Как скоро получу согласие дяди, явлюсь с предложением . . . Скажи, моя дорогая: любишь ли ты меня, твоего невольника, кабального невольника? . . .

— Ваня! Давно тебя люблю, — ласково сказала Машенька. — Но . . . не ты мой невольник, а я в вечной кабале у тебя! . . .

Так вот каким образом оправдалось заглавие этой главы и каким образом стало, что Машенька очутилась в вечной кабале Самсона, своими собственными хорошевыми устами отказалась от своей воли.

IV. СКУЧНОЕ, НО НЕИЗБЕЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ О ГЕРОЯХ

Как иногда можно, не подозревая даже того, сделаться героем! В указе Калины Калиныча Калинина, рядового . . . ского пехотного полка, например, значится в графе о наградах: получил медаль за войну против соединенных сил Франции, Англии, Пруссии и Сардинии. Шутка ли, один против стальных сил! . . .

Но только Гомер нынешнего времени в звании полуграмотного полупьяного полкового писаря, при бесконтрольности полкового адъютанта мог сотворить героя из Калины Калиныча Калинина, а по совести, герои и героини встречаются в наличности очень редко, причем разумею только нашу изменную среду. Героев нет нынче! Были они прежде, а теперь нет, даже быть не может, потому что все мы герои — или ничто!

Все это говорится к тому, чтобы честная рижская публика не ждала от наших действующих лиц ничего героического, даже просто рыцарского. Почтеннейшая публика, конечно, догадалась (о, она очень догадлива, пусть будет нынче особенно такою догадливою к санитарным нуждам армии, а также и к семействам армейцев, вызванных на поле брани!)¹, что Ванюшка и Машенька, пусть герой и героиня повести, — но уверяем вас, что это так и не так! Действительно, суть герой и героиня повести, но в действительной жизни должны занять самое скромное место. Правда, Иван Алексеич явил героизм, ополчаясь на голиафа Прита без пращи Давидовой и силы Давида. Еще больше, правда, явил он рыцарства и героизма, когда остался на месте подвига один-одинешенек с прелестнейшею девушкою. Все это правда, но все-таки он не был героем, как равно она героинею. Но начнем по порядку их формулярный список, только без означения года, месяца и числа.

Начнем с нежного пола, ему везде преферанс в смысле преимущества, по крайней мере пока он в состоянии непорочного девства, украшенного хорошевым личиком, в хорошевых рамках хорошевого состояния, а после как уж бог пошлет! Мария Гавриловна была, как выше уже сказано, круглая сирота. Отец ее, служивший на Кавказе, умер смертью героя в звании субалтерна², след., не дослуживши срока пенсионера. Мать ее почему-то даже и не претендовала на этот пенсион, хотя была очень небогата . . . И она тоже умерла вскоре, но она была сродни Матрене Прохоровне Мешковой, бывшей тогда богатою. Схоронивши свою племянницу в девятом колене, схоронивши со славою, так что похороны ее стоили больше ста рублей, потому что и панихиды служились, и псалтырь читался, и освещение церкви великолепное было, и место хорошее на кладбище куплено было, и катафалк нанят был, и кутья с возлияниями явилась, — она задумалась, что делать с сироткой. Купчиха пришла к тому убеждению, что следует взять ее за дочь, потому что ей вот уже стукнуло 40 лет, но детей Бог не дал, и сомнительно, чтобы были. Бог, как бы награждая их доброе дело, дал им Петьку,

¹ Повесть написана во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

² Младший офицер.

который родился спустя два года после усновления Машеньки.

Пока дом благодетелей, приютивших Машеньку, был дом богатый, жизнь ее была жизнью чуть не принцессы, ее лелеяли, целовали, баловали как Божий дар. Обращение с нею не изменилось и тогда, как появился на свет наш Петька. Дом купеческий не стеснялся в средствах жизни, по крайней мере так думала хозяйка дома, полюбившая Машеньку пуще своей родной дочери, потому что будь Машенька родная ее дочь, она бы за капризы и выдрала ее за уши и побранила бы крепко и, пожалуй, по прежнему обычаю, посекла бы. Но ее всегда стесняла мысль: она и без того сирота, и без меня будет кому бранить и обижать ее. Муж тоже любил Машеньку по-своему, т. е. не отказывал ради угождения ей ни в чем, а в нуждах и подавно. В силу всех таких счастливых обстоятельств Машенька выросла самою красивою, но и своеобразною девушкою, очень и очень заносчивою, разборчивою в женихах. Заносчивость и разборчивость ее усилились особенно в то время, когда она кончила курс учения примусом в каком-то пансионе в 15 лет. В то время в нашей Риге и не мудрено было достигнуть премьерства в школах; их было немного, предметов преподавания еще меньше, а снисходительности целая бездна, так что можно было ученику-ученице с порядочными способностями и при маленьком прилежании прослыть чуть не феноменом ученицы. Это не то что в нынешнее время, когда с милых барышень спрашивается в гимназиях и физика, и геометрия, и педагогика, и математика, и даже мертвые языки, и разные предметы знания. Машенька не была особенно прилежна, но была в высшей степени понятлива.

Года два перед этим положение приютившего ее дома быстро перешло к худшему. Хозяйин дома, в котором хозяйка видела всегда свое «красное солнышко», своего «соколика», не отказывал себе находить иную луну не у «домашнего очага», на котором законная «луна» приготавлила жирные пироги и еще более жирные жаркие с соусами, а где-нибудь, напр. в ресторации на Красной Двине, под вывеской Гольдская, причем требовались и арфянки, и ужин, и шампанское, и катанье по Двине до Мюльграбена¹,

¹ Прежнее название Милгрависа.

до Киш-озера и куда угодно, сухим и мокрым путем, *in duo*¹ и более, и в разуме и как придется, но всегда без воззрения на то, как распоряжаются люди в магазине. Случалось и банчик метнуть с кем-нибудь. Случалось, что этот кто-нибудь был ближним в виде шулера. Да мало ли что случалось? Разве мы не видим повторения всего этого во многих купеческих домах? Кончилось тем, что в один прекрасный день все имение забаловавшего купчика было продано с молотка, а сам он переселился в елисейские поля. Каким-то чудом уцелел домишко деревянный в одной из задних улиц за Покровским кладбищем, — домик, приносящий доходу рублей 200 в год. Переход от богатства к бедности был очень тягостен для семейства, но все-таки не был убийственен, потому что старушка успела кое-что спасти от страшного крушения, а Петрушка был отдан в мальчики к одному богатому англичанину, имевшему торговую фирму в Риге, с условием выучить его всевозможным наукам и языкам. Не знаем, насколько мальчик в 15 лет научился всем возможным наукам и языкам, но в эпоху домашней катастрофы он уже получал небольшое жалованье, из которого мог, будучи в высшей степени аккуратным мальчиком, уделять кое-что обедневшим матери и племяннице. Короче, как-то приловчились к своему новому положению. Одна Машенька не примирилась с ним в душе. Она никак не понимала существования х о р о ш е н ь к о й без кареты, без абонементов в ложе, без костюма по последней картинке французских мод и прочих удобств жизни, к каким приучена была покойным дедушкой. Она уже не требовала ничего особенного ни для себя, ни для туалета своего, но крепко обижалась на судьбу и дала слово век не выходить замуж, если суженый будет голыш. Бабушка тоже утверждала ее в этой решимости. Иван Алексеич был подходящим женихом, но он долго не изъявлял твердого и неуклонного желания взять себе в жены такую непорочную, но прихотливую отроковицу: он имел не богатство, а шансы на богатство, был красив, добр, почти умен, уступчив, просто муж, каких редко поискать. Когда же случай в теснине Кумминговской н а т о л к н у л

¹ Вдвоем (латин.).

их друг на друга и он высказал свое намерение, она сочла себя счастливой и без колебаний отдала себя в кабалу ему.

Почему Машенька нашла Ивана Алексеича соответствующим своей идее о женихе? Какие шансы на богатство он имел? И кто таков он сам?

Если бы о молодом человеке требовался формуляр с показанием, что он сделал или кончил, то о нашем Ваничке следовало бы дать отрицательный отзыв по всем отраслям человеческой деятельности и звания. На вопрос: кончил ли он курс наук? — следовало бы отметить: он кончил, только поучился кой-чему в . . . ской гимназии. Служил ли где? — во многих местах, нигде ничего не достиг. Был в юнкерах — тогда это было легко! — но через год уволен в отставку с званием унтер-офицера (тогда это тоже было так!), поступил потом в гражданскую службу, но вышел из нее, получивши первый чин.

Чем занимался он теперь? Да ничем, если не считать за что-нибудь постоянное шмыганье его на Двину с удочкою, для чего собственно и имелась у него душегубка с целым припасом и донных, и поплавных, и щучьих удочек, и блинок, и сморгалок, и всяких других удильных снарядов.

В чем же заключались шансы его на богатство, в силу чего, несмотря на то, что он был в установленном отношении недорослем, делали его в глазах Машеньки завидным женихом? В дядюшке его! Но кто такой был дядюшка?

У. МОЙ ДЯДЯ САМЫХ ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ

Во время оно тепло было быть владыками воинских частей, даже такой маленькой частицы, как рота, команда, полугоспиталь и т. д. Как выдвигалось это хорошее, теплое, для нас непостижимо, но так практически хорошо, что деятели, в формулярах которых значилось, что произведен из писарей, имения ни за ним, ни за родителями, ни за женой его не имеется ни наследственного, ни благоприобретенного, являлись по прошествию нескольких лет владельцами изрядных имений, движимых и недвижимых, имея на груди очевидные свидетельства своей честной деятельности в виде разных зна-

ков отличия, что подавало им повод свысока, через плечо глядеть на штафирок-приказных, которые до того были подлы, что унижались брать гроши с челобитчиков. К счастью, это время уже миновало, переселилось в Турцию и к возвращению в Россию невозможно. Но было — было то время!

Во время-то оно жил и служил в комиссариатском ведомстве Нил Ефимыч Козляков, состоя в звании коллежского, а потом и статского советника, след., занимая одно из теплейших мест империи, потому что тогда подобные чины давали право на самые солидные места с почти тепличною теплотою. Вдобавок к этому место служения г. Козлякова был Кавказ, где было не только тепло, но и жарко служазим. В звании писаря он был аккуратен, трезв, покорно безответен, вследствие чего произведен в регистраторы, что открыло ему торную дорогу к разным тепленьким местечкам по комиссариатскому ведомству. Переходя с одного хорошего места на другое лучшее и всегда в видах пользы службы, с перебоем одного начальника у другого, с отличными аттестациями от каждого, он успел и чины с отличиями заслужить, и в карман кругленькую сумму положить. Лет в 55 от роду он вышел в отставку в звании его превосходительства и поселился в Риге, где жил так скромно, что его считали не более как барнином, что, как известно, не равняется даже «его благородию».

У его превосходительства была сестра Аннушка, приличная девушка, разумеется ничему не учившаяся. После того как Нил Ефимыч стал на ноги, он вспомнил о своей сестре, которая с громким плачем провожала его, бежа за телегою, на которой увозили его кантонисты — в уездный город для отправки в кантонистское училище, вспомнил и вызвал ее к себе, чтобы предоставить ей заведование хозяйством, а при случае и пристроить в замужество. Устроилось последнее, потому что Аннушка, хоть и безграмотная, приглянулась одному из подведомых ему чиновников Алексею Петровичу Пятницкому, человеку тихому, спокойному, доброму. А понравилась тем, что и сама подходила ему характером с прибавкой особенной чистоплотности, аккуратности в хозяйственных порядках и добрым симпатии

ческим лицом. Нил Ефимыч с радостью дал согласие на брак, был отцом посаженным на свадьбе, восприемником, когда родился Ваничка, и вообще всеми силами, влиянием и даже собственным карманом содействовал счастью молодых. Наверное, карьера молодых кончилась бы статским советничеством и обилием банковых благодатей, если бы не подкосила их безвременная смерть: оба они погибли в одну холеру, сначала муж, а потом, через день, любящая жена, так что оба успели быть погребенными в один день, в одной могиле, рядышком друг с другом, так что, казалось, и за могилую не желали расставаться друг с другом. Нил Ефимыч, бросив три горсти земли на гроб любимых существ, прошептал над ними клятву быть отцом их Ванички, но только не баловать его. Он по-своему свято выполнял эту клятву. Племянник-крестник сначала в высшей степени оправдывал надежды дядюшки: лет до десяти с точностью машины выполнял дневное расписание, потому что иначе ожидали его увещания в форме березового веничка без листьев, без всякого послабления, хотя и без особенной жестокости. Но потом начались уклонения Ванички с дороги автоматического исполнения долга, они с каждым годом учащались и усиливались, несмотря на увеличение увещаний, даже как бы наперекор им. Кончилось тем, о чем мы уже имели честь докладывать почтеннейшей публике: коллежским в отставке регистраторством Ванички. Дядюшка давным-

давно уже прекратил свои вещественные ему увещания (словесных он делать не умел!), и все его старание обуздать Ваньку состояло в том, что он назначил ему 15 рублей ежемесячного содержания при готовой квартире (т. е. каморке) у него и в паре платья в год. Делал ли племянник случайно маленькие долги и обращался ли к дяде, дядя только подтрунивал над ним. Просил он об одолжении вперед в счет своего пенсионера, дядя, издеваясь, спрашивал его: «А что, Ванюша, милосердный Царь Небесный исполнит ли твою молитву выдать тебе вперед дней хоть десять жизни? Нет, не услышит он твоей такой молитвы! А как же ты хочешь, чтобы я дал тебе наперед десять рублей серебром? Ведь на рубль-то серебром я сколько могу сделать хорошего! А что хорошего из того, что ты все дни свои употребляешь на усердное служение в комитете утапывания грязных площадей и шлифования безвозмездно городских тротуаров, преимущественно по направлению к Красной Двине? .. Нет уж, Ваня, ты вперед меня ни о чем не проси... Ведь терпит Он, терпит, да и терпения не станет. И легко может статься, что завтра же истяжут от тебя или от меня грешную душу нашу. Так как же я могу вперед выдавать жалованье? Нет, милый мой Ваничка, не дам, и ты лучше не проси, а прижайми, а еще лучше заработай где-нибудь. Ведь в самом деле, не вечно же тебе так-то быть...»

Продолжение следует

Олег КРУГЛИКОВ родился в 1964 г. в Риге. После окончания средней школы учился в Рижском медицинском институте. Стихи О. Кругликова публиковались в журнале «Родники», газете «Советская молодежь».



СТРЕЛА

* * *

Зеркало отразилось в воде
Зеркалом отражающим воду
Колодец зеркальный время разрезал
Создал застывшую вечность
Ту что все объясняет
Не давая ничему объяснения
Ту что притягивает отвергая
Ту над которой зависаешь
Забыв обо всем и о себе
Забыв и о самой вечности
Остается покой
В котором нет смысла
Потому что нет и тревоги
Нет и тебя самого
Но что-то осталось
Что
То что осталось между зеркалом и водою
Зеркалом и водою
И все

* * *

Постарела стрела
Улетевшая вдаль
Улетевшая в цель
Заржавел под дождем
Наконечник стальной
Затупил его град
И не режется с легкостью воздух
Не поет в оперенье победном
Да и цель уж давно
Могильным крестом
Неживую стоит мишенью

* * *

Сильный жар
Заходит солнце за окном
На скользком зеркале
Качается тревога
Под телефонный звон

Сухой язык
Для пустословья беззащитен
Звоните вечно
Но теперь молчите

По комнате разлит горячий яд
Во сне наколот горящий лед
В аду не говорят в аду горят
В бреду не верят
В беду и верность
В бреду холодный ветер — бог

* * *

Песочные часы
Набиваются порохом
В тихом взрыве
День рождается мертвым
Задевая стены
Путаясь в руках улиц
Летит перекасти-поле
И далее и далее
В синее время
И силы отдавая
Бессмысленному взгляду
Мы ждем
Когда опустятся
Цветные покрывала
Над мертвым днем

* * *

В тайной пещере пророки глядят на созвездья
пророки считают до трех
на три пророчества бьют
сквозь тысячелетья

В черной пещере мерцают созвездья
считают до трех
на три пророчества тают
в толще тысячелетий

на звон источника
с факелом мчимся
на эхо в источенных стенах
с обугленной ветвью
далеко впереди бегут наши тени

* * *

Слезливые крысы в подвалах готовятся петь
время тлеть темноте
время тлеть
над собором бескрылые птицы
облетают прощальный круг
унося на себе убитых в грозу звонарей
эй заземленные плотней прижимайте плоть
мы готовимся петь
время тлеть темноте
время
уже душа монахиня нам стелет постели
мир в ее руках-х-ха



С выставки «Latvijas laiks». А. Гаршанс агитирует жителей Вевери близ Вецпиебалги вступить в колхоз. 1949 г. Автор снимка неизвестен

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

ИЗ КНИГИ «60-е»

О кончание

ЧЕГО ЖЕ ТЫ ХОЧЕШЬ? БОГЕМА

1 декабря 1962 года Н. С. Хрущев, указывая на одну из картин, выставленных в московском Манеже, сказал следующее: «Осел хвостом машет лучше».

Между знаменитой манежной выставкой и выходом ноябрьского номера «Нового мира» с повестью «Один день Ивана Денисовича» прошло две недели. Последующие наблюдатели, видя в этих двух событиях символические вехи, считали, что эпоха советского либерализма пришлось — и уложилась — как раз в две недели.

Однако на самом деле появление Солженицына и экспозиция «абстракционистов» не только не связаны между собой, но и представляют два противоположных полюса исторического процесса 60-х.

«Политика тут абсолютно ни при чем. Публикация «Ивана Денисовича» несравненно более опасная акция, чем выставка нефигуративного искусства, не имеющая никакой политической направленности. Но это не помешало Хрущеву противопоставить модернистам Солженицына¹. Дело тут и не в эсте-

тических критериях (личных, хрущевских, или общих, партийных). Граница между двумя этими явлениями — биологическая, видовая. Художника-абстракциониста Хрущев сравнил не с плохим/ вредным/ художником, а с животным — ослом. И в этом проявился незаурядный талант Хрущева в создании лозунгов, концентрирующих суть происходящих процессов.

Кампания против абстракционистов началась с высшей ноты. И никакие рассуждения искусствоведов, никакие инвективы художников-академиков уже не могли по своей выразительности приблизиться к составленной Хрущевым антитезе: люди против животных. Это положение можно было только иллюстрировать, а не дополнять. Что и делала вся советская пресса: «Недавно обнаружилось, что 759 абстрактных акварелей, выставленных в Лос-Анджелесе, написал одноглазый попугай мисс Пауэрс».

Абстракционисты спускались по эволюционной лестнице от млекопитающих к одноглазым птицам, но это были уже детали.

Чудовищная по своему размаху кампания против «формализма», казалось бы, прямо противоречит всему характеру 60-х годов. Ведь новые формы искусства отражали потребность общества в перестройке. Скажем, развернутая Хрущевым жилищная программа требовала оригинальных скульптурных решений для оформления новостроек. Но именно Эрнст Неизвестный, предлагавший такие решения, стал главным объектом атаки.

¹ 17 декабря 1962 года во время встречи правительства с творческой интеллигенцией, с которой началась официальная кампания против «абстракционистов», Хрущев показал пальцем на Солженицына и сказал: «Вот идет современный Лев Толстой» [Устное сообщение Э. Неизвестного].

И вообще, жертвами этой кампании часто становились люди, последовательнее других поддерживающие хрущевские реформы. Например, Евтушенко, который стойко защищал революционный абстракционизм кубинского образца.

Более того, частные проблемы изобразительного искусства стали проблемами международными, когда в защиту гонимых выступили заграничные компартии во главе с «абстракционистами»-коммунистами Пикассо и Гуттузо. На фоне раскола с китайцами это не могло не расцениваться как тяжелый удар по советскому престижу.

Но главное — вся кампания была направлена против мифического врага. Ведь никто, кроме Хрущева, никаких абстракционистов не видел — их не выставляли, не печатали, не знали. Война ожесточенная, не останавливающаяся ни перед какими жертвами, шла против принципа.

Что же вынудило Хрущева ринуться в атаку на отвлеченный принцип? Народ.

В отличие от предыдущих вождей, Хрущев был растворен в народной стихии. Он казался и был ее голосом. Поэтому дело не в личных вкусах Хрущева, дело в его ритуальном отношении к искусству, которое он разделял со своим народом.

То, что Хрущев увидел в Манеже, было непохоже на то, что он видел в жизни. Неважно, что или как рисовал художник. Важно, что непохоже.

В народном представлении связь изображаемого с изображенным неразрывна. И связь эта всегда обратная. Искажая вещь на картине, художник искажает вещь (лицо, предмет, природу) реальную, действительно существующую¹.

Магическая сторона искусства от палеолита до наших дней питает собой реалистическую тенденцию. «Похожесть» — инстинктивное требование к искусству. «Непохожесть» — всегда связана с интеллектуальным насилием.

Конечно, ни культура, ни наука, ни

цивилизация в целом невозможны без внесения условности, без преодоления инстинктов, но путь к этому преодолению лежит через компромисс — брак, образование, демократия. Абстракционизм компромисс отвергал, разрывая связь искусства с реальной жизнью самым агрессивным образом.

Сталинский классицизм тоже был далек от истинной похожести (многометровый бронзовый «человек в штанах») или кинофильм «Кубанские казаки»), но жизнеспособность, пусть гиперболлизированная, сохранялась.

60-е требовали более умеренного реализма. Но речь шла скорее о количестве, а не качестве мотива. Образцом таких перемен могла быть, скажем, новомировская проза.

Модернизм же отрицал права зрителя на сравнение искусства с действительностью. Художник, противопоставляя себя народу, переставал быть его говорящей частью.

Такое искусство действительно больше не принадлежало народу — оно было направлено против него. Абстракционист не созидал, а разрушал — образ, форму, цвет — а значит, и жизнь. При этом он даже лишал зрителя права судить его: абстрактную картину нельзя сверить с единственным общедоступным критерием — объективной реальностью, данной нам в ощущениях.

Хрущев справедливо увидел в модернистах людей, которые хотят и, наоборот, могут внести идею альтернативы в общество, сплоченное единым идеологическим процессом.

Кучка абстракционистов противопоставляла коллективу личность. И — главное — у этой личности не было цели, кроме самовыражения.

Ни друзьями, ни врагами они быть не могли. Ведь модернисты не спорили с идеей, более того, они не говорили вовсе (их тексты были лишены читаемых образов). Поэтому Хрущев обратился к зоологии, несколько наивно отнеся к низшим формам жизни и «пидарасов».

В Манеже он защищал свой народ от внеидеологического вмешательства, от анархии, которая грозила уничтожить саму логику советской жизни. И в этом смысле Хрущев правильно противопоставлял Солженицына абстракционистам.

Конфликт партии с так называемыми «формалистами» был лишь частным

¹ 8 марта 1963 года Хрущев произнес речь, в которой он красочно описал свои впечатления от прогулки в зимнем лесу: «Только посмотрите на эти ели, на снежинки, блестящие в лучах солнца! Как прекрасно все это! И теперь модернисты, абстракционисты хотят нарисовать эти ели вверх ногами!»

случае всеобщего, всемирного противостояния поэта и толпы. Тотальная идеологичность советского общества лишь придала ему наглядность.

Выставка в Манеже обнаружила существование в России явления, которое условно можно назвать — богема. Кампания против абстракционистов помогла нащупать границы этого феномена. Внешним критерием стала «непохожесть». Благодаря универсальности такого определения принципиальная разнородность богемы, хотя бы с одной стороны, со стороны народа, оказалась отграниченной от остального советского общества.

Те, кто занимался «непохожим» искусством, вредили стране даже тогда, когда не демонстрировали ей свои произведения. Они были шарлатанами. То есть бесполезные члены общества выдавали себя за полезных — художников, писателей, поэтов. А поскольку государство не оплачивало труд богемы, то шарлатаны становились тунеядцами.

С точки зрения физики работа совершается даже тогда, когда мы тщетно пытаемся загнать гвоздь в стальную стену. С социальной точки зрения работой будут считаться только усилия, приведшие к тому, что гвоздь все же в стену вошел.

Разница между абстрактными и конкретными гвоздями лишала богему теоретического оправдания. Раз общество не покупает искусство, его — искусства — нет вовсе.

Поэтому, когда в 1964 году судили Иосифа Бродского, ему инкриминировали не антисоветскую деятельность, а тунеядство. Точнее, его обвинили в невыполнении «важнейшей обязанности человека трудиться на благо Родины и обеспечения личного благосостояния».

Этот приговор основывается на варварски понятном буржуазном представлении: стихи возникают не в момент написания, а в момент потребления их обществом. Антагонизм богемы и народа предстает вариантом все того же более глубокого и вечного конфликта — поэт и толпы.

Богема, во-первых, не работала, во-вторых, не работала на пользу обществу. Общество считало, что первое и второе одно и то же. Богема была уверена, что это абсолютно разные вещи.

В партийных документах и газетных фельетонах люди, занимающиеся не-

официальным искусством, выглядели воинствующими бездельниками, трунями (именно «окололитературным трупнем» был назван Бродский).

Истина, причем бесспорная, состояла в обратном. Богема образованна до педантизма и трудолюбива до графомании. Но она разрушает естественную связь труда и денег — не тем, что не работает, а тем, что работает бесплатно. Существование богемы оправдано в других, внеэкономических и внеидеологических координациях, в которых труд — награда труженику. Люди, обвиненные в тунеядстве, на самом деле противопоставляли неинтересной работе — интересную, но отнюдь не безделье.

Деклассированным элементам в России живется совсем непросто. Свою невключенность в общество они, хотя бы внутренне, должны оправдывать вескими причинами — болезнью, алкоголизмом или искусством (что может легко объединяться в одной личности). Это отчасти объясняет огромный ни с чем несообразный поток неофициального искусства в России. Написанное стихотворение или картина дает необходимый статус, пусть даже с обратным знаком.

Советская богема не только многочисленна, но и многообразна. Помимо таких очевидных вещей, как поэзия и живопись, существует неонконформистская музыка, театр, даже балет.

Разделение на жанры тут вообще весьма условно. Богема принципиально ориентируется не на результат творческого процесса, а на сам процесс. Ей, в сущности, безразлично, что сочинять — поэму или оперу. Гораздо важнее определенное мировоззрение, которое она культивирует, и его следствие — образ жизни.

Советское общество выделило богему в отдельную социальную группу тунеядцев и шарлатанов. Но и богема отгородилась от общества эзотерическим характером своей деятельности. И та и другая сторона тщательно охраняют границу между официальным и неофициальным искусством. Переход рубежа в обоих случаях преследуется как ренегатство и наказывается, соответственно, административно-принудительными мерами или остракизмом.

При этом богема ничуть не менее агрессивна, чем противостоящее ей общество. К нетерпимости ее побуждает потребность в самовыражении. Приняв как знамя навязанные ей обществом

критерии «непохожести и непродажности», богема ведет бескомпромиссную войну с «похожим» и «продажным».

Можно сказать, что господствующие в стране взгляды просто вынудили богему принять лозунг чистого искусства. Что еще она могла противопоставить тотальному представлению об искусстве-рычаге? Только искусство самоценное, бесполезное, бескорыстное и если созданное не без смысла, то уж точно без умысла.

Конфликт богемы с советской властью был вызван чисто эстетическими причинами. Как всегда, естественный консерватизм общественного вкуса приводит к образованию анархического авангарда — богемы. При Сталине искусство было слишком монолитным, чтобы оставлять видимые посторонним цели. 60-е, разрушая этот монолит, ненароком открыли существование катакомбной культуры. В этом заслуга (вина?) и самой богемы. Опираясь на прецедент Октябрьской революции, авангардное искусство могло надеяться, что политические потрясения отразятся и на эстетике. Помня о футуристах, низвергнувших, пусть ненадолго, реалистическое искусство, богема была готова занять место сталинских академиков. Поэтому «абстракционисты» и попали на провокационную маневную выставку.

Однако 60-м недоставало размаха той, главной революции. Смена моделей социалистического общества была слишком поверхностной, чтобы затронуть такие глубинные структуры, как эстетические принципы. В стране по-прежнему строился коммунизм, и искусство должно было работать на стройке (хотя бы разрушая старое).

Как раз работать богема не хотела. То есть хотела, но не так.

Отношение к политике определяло разницу между официальной и неофициальной культурой. Богема политикой не интересовалась, доходя в своем безразличии до циничного предела. Как писал Незвестный: «Я был согласен на ужас, но мне нужно было, чтобы этот ужас был сколько-нибудь эстетичен».

Богема может существовать только в противостоянии, но не власти, а массовому искусству, которое является результатом не конкретного политического процесса, а всеобщего прогресса.

В таком сугубо идеологизированном обществе (попросту говоря, начитан-

ном обществе), как советское, массовая культура обретала огромную власть. Вся страна — от Шолохова до машинистки, перепечатающей Солженицына, — считала, что искусство отражает реальность.

Те, кто видел в искусстве антитезу реальности, и составляли богему.

Катакомбная, подпольная, нонконформистская культура исповедовала свою эстетику, которая прежде всего должна была противостоять общепринятой. Она не могла не учитывать советскую (антисоветскую) точку зрения, потому что ей нужно от чего-то отталкиваться.

Если официальная эстетика говорила, что цель искусства — улучшение человека и общества, то неофициальная утверждала исключительную ценность самовыражения.

Российская богема создала мощную теоретическую базу, оправдывавшую свое существование. Разветвленная на десятки направлений, она представляет все нюансы современной художественной мысли. Но в одном, вероятно, все теории сходятся: цель человека — построить царство Божие в себе, реализовав свой дар в категориях культуры.

Этот идеологический фундамент включает и более узкую платформу «непохожести и непродажности». Но он ведет намного дальше. Искусство становится единственной осмысленной деятельностью человека, единственным оправданием его жизни. Жизнь вообще имеет ценность, только если она выражена в художественных формах. По утверждению покровителя богемы Давида Дара, «настоящий художник прежде всего творит собственную жизнь».

Богема категорична в своем аристократизме. Она, как Хрущев, пересматривает эволюционную лестницу, с той существенной разницей, что ставит художника над толпой.

Толпа остается так далеко позади, что герои неофициального писателя Юрия Мамлеева могут вести такой характерный диалог: «Ну, об этих что говорить, те просто грибы».

Мамлееву вторит неофициальный поэт Всеволод Некрасов: «Все трудящие — немудрящие, а нетрудящие — мудрящие». К «мудрящим» богема относит только себя.

Понятно, что между стоящими на разных ступенях эволюции художниками и нехудожниками не может быть

взаимопонимания. Его и нет. Богема не знает деления на писателя и читателя. Она имеет дело только с авторами, которые поочередно выступают в роли слушателей.

Но и это необязательно. В конечном счете искусство для искусства означает искусство для себя, для художника. О чем настойчиво говорят теоретики богемы: «искусство — это не профессия, а состояние»; «писать нужно то, что не сможешь нигде прочесть» и, наконец, «основной признак гениальности — это ощущение себя гением».

Богема довела свою теорию до той последней точки, где снимается проблема качества. И ей не откажешь в последовательности.

Правда, такая экстремальность парадоксальным образом приводит все к тому же представлению об искусстве как средству, допустим, духовного самоусовершенствования. Но с этим богема готова мириться: художник приравнивается к Творцу, и искусство сливается с тем, кто его созидает, в неразсторжимое единство. Произведение больше не отчуждается от автора. Произведение даже может не быть вовсе, поскольку главный шедевр и есть автор.

Хрущев чувствовал, что его хотят обидеть¹. Он защищал толпу от богемных сверхлюдей, утверждая, что искусство должно быть понятным. «Даже при коммунизме воля одного человека должна быть подчинена воле коллектива». Он считал богему антисоветской, антипатриотичной, но на самом деле она была просто антидемократичной.

Теория авангардного искусства была не нова, но современна и своевременна. Она отражала общий кризис культуры, который как раз в 60-е был отнюдь не очевидным. Бурная социальная реальность той эпохи гальванизировала искусство, придав ему видимость идеологической мощи. Богема, инстинктивно не доверяя всему популярному, чутко отреагировала на этот всплеск активности — она его игнорировала.

¹ На манежной выставке Хрущев говорил: «Был я шахтером — не понимал, был я политработником — не понимал, был я тем — не понимал. Ну вот сейчас я глава партии и премьер и все не понимаю! Для кого же вы работаете!» — (Э. Неизвестный. Говорит Неизвестный, с. 13).

Настаивая на исключительно эзотерической природе искусства («я придаю очень малое значение книге и громадное значение рукописи»), богемная теория делала ставки на древнюю башню из слоновой кости. В этом была ее духовная сила и художественная слабость. Потому что практика богемного творчества стала свидетельством трагического разрыва массовой культуры с настоящей.

Богема не только не хотела творить для народа, но и не могла.

Тут следует оговорить тот очевидный факт, что неофициальное искусство означает именно то, что означает, — любые произведения культуры, которые создаются и распространяются без санкций культуры официальной. Спектр этого явления очень широк, и значительная часть катакомбного искусства не имеет никакого отношения к эзотерике, а напротив, пользуется грандиозной популярностью. Вся Россия знает блатные песни, похабные частушки, анекдоты или самодельные ковры с лебедями. Такие богемные по своему происхождению произведения, как «Фонарики» Глеба Горбовского или «Товарищ Сталин, вы большой ученый» Юза Алешковского — давно стали достоянием фольклора.

К тому же сравнительно часто авангарду удается вступить в альянс с властью, перейдя границу официального искусства. И тогда появляются скульптуры Неизвестного на общественных зданиях, пластинки Высоцкого, абсурдистские книжки Детгиза.

Однако ядро богемной культуры, ее наиболее характерная и непримиримая часть, целиком разделяет собственную теорию эзотерического искусства и не идет ни на какие компромиссы с популярностью.

Понятность («похожесть») богемный художник всегда расценивает как постыдную уступку массовому вкусу. Если он и не избегает доступности в своем творчестве, то во всяком случае к этому не стремится: «Если речь о моменте исполнения, то чем меньше я его понимаю, тем лучше» (Анри Волохонский).

Рафинированное богемное искусство — вроде слоговой поэзии Генриха Худякова или интернациональной зауми Константина Кузьминского — никогда не учитывает пассивного слушателя. Только адепта, участника, соавтора — или никого.

Богемный текст — всегда хэппенинг. Он сознательно производится, придумывается по рецептам соответствующей теории. Например, такой: «Принципы логотворчества излагаются в экстремическом словаре, гранах Аверонны и в ключах экстремических стихов» (Илья Бокштейн).

Богемный художник обычно идет от эрудиции, от книг, от теории, от аналитичности, а не от непосредственного творческого акта. Искусство конструируется, а не создается. Оно осмысленно во всех своих элементах, даже если абсурдно.

Поэтому богема, претендующая на роль авангарда, на самом деле всегда занята выискиванием предшественника. Тайная неуверенность в себе вынуждает опираться на прошлые авторитеты. Богемное искусство весьма механически комбинирует элементы различных культур, часто иронически их переосмысливая, чтобы из разнородных кубиков сложить что-то свое, непохожее.

Отсюда и представление о главенствующей роли метода, о правилах сложения, овладев которыми можно всегда успешно творить. Искусство — это путь к абсолютному алгоритму вселенной. Стоит его найти (через религиозный, алкогольный, наркотический, сексуальный экстаз, благодаря мгновенному просветлению дзен-буддизма или кропотливому исследованию прошлого опыта), и творческий акт станет адекватен созданию мира.

Стихотворение или картина — это всегда ключ к цельному постижению универсума, его аналог, зашифрованный кодом определенной теории.

Богемный художник стремится своими средствами создать формулу мира. И часто верит, что его макет вселенной и есть мир. Поэтому он так серьезно относится к тому, что делает.

При всей буффонаде, эпатаже, просто хулиганстве, богема преисполнена ответственности по отношению к своему творчеству. Авангардное искусство, не рассчитанное на продажу, всегда имеет дело — по терминам скептиков — с «духовкой» и «нетленкой». То есть с такими текстами, которые не меняются от восприятия потребителями и содержат в себе концентрат вневременной культуры.

Эстетика тут вырождается в этику. Впрочем, справедливо и обратное. Если искусство не часть жизни, но сама

жизнь, то тут нечему члениться на категории. Добро и Красота растворяются в верно найденном алгоритме вселенной. Достаточно расшифровать его (верно воспринять), и мы окажемся обладателями синкретического идеала, открывающего путь к высшему совершенству, тому самому царству Божьему, к которому и стремился художник.

Философия богемы, идя к крайнему эзотеризму, все больше сближается с теологией. «Искусство — это пути красоты, ведущие к Богу. Степенью веры определяются мощь и жизнеспособность стилия».

Чем дальше богема идет по этому пути, тем бескомпромиссней она становится. Авангардный художник, устремившись к Богу, не склонен вспоминать об оставленной далеко позади толпе. Его искусство лишено элементарных, изначальных качеств — оно неувлекательно. Не интересуясь мнением масс, оно и не способно заинтересовать массы.

Любое произведение официального искусства внятно, доступно, способно привлечь читателей, а значит — участвует в жизни. Пусть не заменяет ее, но все же составляет существенную часть цивилизации.

Неэзотерический, «нормальный» художник не может творить без компромиссов. Тиражи, популярность, гонорары — все эти так презираемые богемой инструменты обратного воздействия на искусство несомненно способны развратить культуру. Но они же позволяют искусству питаться непосредственной жизнью — не пропущенной сквозь призму теорий, без алгоритмов.

Великое искусство всегда народно. То есть всегда готово к компромиссу. «Искусство не боится ни диктатуры, ни строгости, ни репрессий, ни даже консерватизма и штампа». Не останавливается оно и перед социальным заказом, перед эксплуатацией читательского интереса, перед тем, чтобы получить за творчество деньги и славу.

Аристофан и Платон, Шекспир и Сервантес, Боккаччо и Пушкин — все они были вознесены современниками, способными разделить духовные прозрения мэтра. Все это и была массовая культура своего времени.

Но искусство, растворенное в толпе, — это антитеза богемы. Она не знает счастливого симбиоза поэта и черни и поэтому находит себе утешительные

образцы исключений — непризнанный Ван-Гог и Хлебников.

Воюя с массовой пошлостью, которая все стремительнее становится синонимом массовой культуры, богема, по сути, борется и с искусством, которое просто невозможно без необходимой составляющей — народа.

Поэтому, разделяя, уважая, даже поклоняясь эстетской богемной теории, почти нельзя вступить в творческий контакт с ее художественной практикой. Во всяком случае, для этого нужны особые усилия, особое напряжение, особые правила. Авангард не рассчитан на непосредственное восприятие. Он не интересен в общепринятом понимании. А без общепринятого понимания искусство перерождается во что-то другое — философию? религию? мистический обряд?

Для богемного творчества характерен эксперимент с готовыми формально-содержательными компонентами, дотошная регистрация индивидуальных ассоциаций, поиск хаоса в художественных закономерностях: коллаж, семейный альбом, «перформанс».

Все это — мастерская, лаборатория, маскарад, калейдоскоп. И все это лишено оплодотворяющего погружения в инстинктивное, доверчивое восприятие мира.

Тем значительнее факт, что в 60-е именно богема оказалась наиболее стойкой общественной силой, сумевшей сохранить творческую атмосферу во всех испытаниях, выпавших на долю поколения.

Вероятно, так случилось потому, что богема меньше всех зависела от советской власти. Ей вообще было трудно определить свое отношение к государству.

В начале 60-х катакомбное искусство неожиданно вышло на поверхность. Это эпоха публичных чтений, комсомольско-богемных диспутов, появление первого художественного самиздата (журнал «Синтаксис», например).

Неофициальное искусство случайно получило аудиторию. Благодаря усилиям слушателей оно стало оппозиционным. Отсутствие санкции придавало богеме запретный нюанс, а значит, и популярность.

Общественный протест выливался в эстетические формы естественным образом — других не было. Свобода

творчества казалась самой реальной свободой. Нелепо требовать от партии распушить колхозы (никто этого и не требовал), но можно настаивать на своем праве писать верлибром.

Однако лозунг свободного искусства по-разному воспринимался читателями и богемными авторами. Первым свобода нужна была для того, чтобы больше узнать правды об обществе. Вторые хотели освободиться не только от цензурной опеки, но и от художественных догм, в том числе — от читательского диктата.

У богемы было слишком мало общего с нравственным движением обновления общества, потому что нравственность она растворяла в искусстве. Неофициальный художник с одинаковым презрением относился к Кочетову и Твардовскому, Шолохову и Солженицыну, Михалкову и Евтушенко. Сам факт публикации перевешивал любые тактические соображения. Это все была литература для масс, написанная, чтобы влиять, звать, строить.

Ничего, кроме искусства, богема строить не хотела. Да и не верила, что это возможно. В 60-е годы, как и любые другие, авангард мог без конца повторять слова Гете: «Если поэт стремится к политическому воздействию, ему надо примкнуть к какой-то партии, но сделал это, он перестанет быть поэтом, ибо должен распротеститься со свободой своего духа и натянуть себе на голову дурацкий колпак ограниченности и слепой ненависти... Отчизна поэтического гения — то доброе, благородное и прекрасное, что не связано ни с какой провинцией, ни с какой страной».

В 60-е только богема готова была подписаться под этой сентенцией. Любое общее дело представлялось ей бессмысленной фикцией, потому что участие в субботнике и редколлегии означает подчинение личных интересов (самовыражение) коллективному. Исключенность в официальную систему всегда вызвала у богемы ненависть. Скажем, формальные эззерсисы Вознесенского, такие близкие авангарду, отрицались с порога из-за того, что, функционируя в печати, поэт компрометировал чистое искусство.

И дело тут не только в компромиссах, — политических, нравственных, эстетических, — на которые вынужден идти подцензурный автор. Важнее, что

рукопись, ставшая книгой, опровергает идею слитности текста с его творцом — выпускает непосвященных в храм чистого искусства. А храмом богема дорожила больше всего. Там, в башне из слоновой кости (барак, подвал, чердак), формировалось суровое братство художников, не допускающее отступничества во внешний мир, где существуют дома творчества, гонорары, тиражи — успех. Бравируя аскетизмом, богема от всего этого радостно отказывалась, но взамен требовала независимости, автономии.

Если искусство — антитеза реально-сти, то богемный быт противопоставлен нормальному общественному бытию. Богема сознательно и последовательно изымала социальные стержни из своего обихода. Она заменяла определенность случайностью — случайная мебель, случайные связи и очень случайные деньги. Эстетизировав до предела свой быт, катакомбная культура воспринимала внешний мир только через творческий импульс — репродукции американских абстракционистов, перевод Сартра, переиздание Заболоцкого.

Келейная атмосфера жрецов авангарда исключала нормальные социальные контакты. Здесь никто не читал газет, не смотрел телевизор, не ходил на футбол. Здесь не заметили полета Гагарина, не знали отчества Хрущева и вообще считали, что Политбюро, как в былые времена, состоит из трех богатырей. Жизнь измерялась не годами, а прочитанными книгами и сочиненными рукописями. Экзотические службы — от егеря до могильщика, не менее экзотическая эрудиция — от хакасского языка до герменевтики: это включало в богемный ритуал столь дорогой ей привкус ненормальности.

Наигранная умышленность этого образа жизни полностью соответствовала главной цели — служению творческому абсолюту. Богемный быт противостоял нормальному в той же мере, в какой авангардное искусство противопоставлялось реальности.

Советское общество, с его окостеневшими институтами, кастами, регламентом, предоставляло богеме прекрасную возможность выделиться из толпы, то есть подняться над ней. В России экстравагантное поведение уже по себе акт творчества. Быт и был главным жанром нонконформистского искусства.

«Не менее важным элементом творчества, чем писание стихов, была для всей нашей группы своего рода жизнь напоказ, непрерывная цепь хэппенингов... Когда наш живописец Олег Целков закончил наконец свой «автопортрет в нижнем белье», мы устроили шумные крестины... автопортрет окунули в реку и с пенем понесли по набережной... Мы пели обычно Хлебникова или Пастернака, посадив их на мелодию какого-нибудь советского марша... Мы никогда не упускали случая порадовать публику хороводом, игрой в «Каравай» на оживленном перекрестке...»

Так богемная жизнь сливалась с искусством. Осуществлялось вожделенное единение творца с шедевром, в котором катакомбная культура видела свой идеал.

Погруженная в социальный вакуум, богема меньше других реагировала на ход истории, 60-е прокатились мимо нее. Поднятая над толпой самоопределением, богема обрела себя на непонимание. Не имея выхода к народу, она и не разделяла его увлечений, заблуждений, разочарований.

Занемногими исключениями, неофициальное искусство не участвовало в борьбе либералов с охранителями — в любом случае ни те, ни другие ее не признавали. Но и диссидентство, с его реальной социальной проблематикой, богему не привлекало.

Признавая существенным только художественные абстракции, будучи принципиально аморфной, богема оказалась наименее уязвимым идеологическим образованием. Опровергнуть ее теории было нельзя, поскольку они лежали вне социально-исторической — то есть доказательной — плоскости. А взять с нее было нечего.

Малопродуктивная сама по себе, но не зависящая от сиюминутной конъюнктуры, богема подготавливает почву для новых идей.

В советском обществе богема была и есть духовная резервация. Феномен абстрактной культуры. Заповедник чистого искусства. Эстетическое болото. Философская свалка. Школа выживания, необходимая не только поэтам, но всему обществу.

Когда эйфория 60-х сменилась апатией и разобщенностью, когда оказались исчерпанными идеи, приводящие в движение социальную жизнь, когда

доведенные до логического завершения тенденции хрущевского либерализма стали своей противоположностью — жизнеспособной осталась одна богема. Не имея цели, задачи, смысла, она и пострадала меньше других, когда всего этого лишились шестидесятники.

Даже эмиграция никак не изменила ситуацию. В Америке, Израиле, Франции российский авангард по-прежнему живет своей бескомпромиссной жизнью, находясь в условиях вечной конфронтации — не с властью, а с толпой.

Благодаря воинствующему бескоры-

стию, страстной жажде облечь мир в эстетические формы, вере в абсолютное значение творческого акта богема сохранила главное — среду.

Из этой среды выходят такие художники, как Иосиф Бродский, иронически подытоживший опыт цивилизации, утративший современную культуру декаданса в адекватные ей стихи. Или Венедикт Ерофеев, который в кощунственной игре ищет возможности духовного обновления.

Из этой среды в следующий виток тугой российской спирали выходят новые слова.



Отличник боевой и политической подготовки

Ц: заключению визамембранной комиссии от 18 апреля 1953 г.
 Протокол № 24
 Признан усвоившим знания в объеме программы — 600 часов
 С оценкой: 5/пять
 К присвоения квалификации: горного десятичника

Зам. нач. ОК ВСУ по подготовке кадров
 Секретарь ЦУК
В. В. В.

С выставки «Latvijas laiks». Теофил Дрейманис в Литене. 1941 г. Удостоверение десятичника Теофила Дрейманиса, высланного в Воркуту. 1953 г. Авторы снимков неизвестны

ГЛАВНАЯ КНИГА МИГЕЛЯ ДЕ УНАМУНО

Наверное, нет на Земле человека, который не думал бы о смерти. О смерти своей и о смерти вообще. В золотой век античных Афин Еврипид сомневался, живем ли мы. Может быть, наша жизнь и есть то, что мы называем смертью? Он мог бы не сомневаться, ведь уже за столетие до него знаменитый Фалес твердо заявил, что жить и умирать — это одно и то же. Но он все-таки сомневался, потому что каждый в своих раздумьях о смерти самостоятелен и одинок. Правда, великий Спиноза однажды, словно отвечая Монтему, ста годами ранее сказавшему: «Размышлять о смерти — значит, размышлять о свободе», сердито написал: «Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти». Но при этом, будучи свободным человеком именно в том смысле, в каком он это разумел, Спиноза, изо всех сил стремясь не думать о смерти, все-таки о ней думал.

Позднее появился философ, для которого проблема смерти стала центральной и всеобъемлющей. Это случилось в столице Страны Басков Бильбао в 1864 году.

В детстве он страстно верил в Бога и мыслил себя в будущей взрослой жизни только священником. Занятия на факультете философии и гуманитарных наук Мадридского университета принесли с собой желание рационализировать веру. Это почти удалось, только... вера исчезла. И потом всю жизнь он неистово пытался вновь поверить, но вера не приходила. Мешало страстное желание философа постичь тайну судьбы отдельного человека и человеческого рода в целом, тайну того короткого просвета, каким является на-

ша жизнь в непроглядной ночи, и тайну самой ночи, где мы пребываем вечно, выскальзывая из нее в жизнь лишь на мгновение.

Философ был и поэтом и не мог им не быть — а где еще, если не в поэзии, он раскрыл бы с такой полнотой свой трагический внутренний мир? Философ был еще и драматургом, и местом действия всех написанных им пьес сделал свое собственное сознание. Философ был и прозаиком, и это тоже закономерно, а где еще, если не в романах и рассказах, могли бы столкнуться его идеи, ставшие его персонажами? Он заведовал кафедрой греческого языка в Саламанкском университете, а в 1901 году получил там пост ректора при бурном ликовании студентов и настороженном молчании уважаемых горожан. Он был еще и активным общественным деятелем, постоянно конфликтовавшим с властью (неоднократное привлечение к суду по обвинению в «оскорблении его королевского величества», ссылка на Канарские острова в 1923 году за серию статей, где он обличает милитаризм и опять крайне непочтительно говорит о короле, годы эмиграции в Париже и Андае (1924—1930), эмиграции добровольной, потому что философ не желает возвращаться на родину, пока там военная диктатура; домашний арест с октября 1936 года до конца жизни, принятый добровольно после торжественного собрания в университете, сорванного речью философа, бросившего в лицо высоким гостям-фалангистам: «Вы можете победить, но убедить вы не можете»). Он был честен, искренен и независим во всем:

в каждом слове, в каждом движении, в каждой строчке.

Его имя — Мигель де Унамуно. Он умер в Саламанке в новогоднюю ночь с 1936 на 1937 год. Через три дня после его смерти другой испанский философ Ортега-и-Гассет с горечью сказал: «Вот уже четверть века голос Унамуно звучит по всей Испании. Теперь он умолк, и я боюсь, что наша страна вступает в долгую эпоху глухого молчания».

Ортега ошибся, голос Унамуно не умолк, он звучит в его книгах. Все свои чувства, сомнения, смятенные вопросы и ответы, всю тоску по истине, все страдания человеческой души перед неразрешимой загадкой бытия и небытия он сумел передать в главном своем философском труде «О трагическом чувстве жизни у людей и народов», первые две главы из которого (в сокращении) читатель видит перед собой.

Вся книга состоит из одиннадцати глав и заключения. В дальнейших главах исследуется трагическое чувство жизни, которое состоит в жажде личного бессмертия. Утолить эту жажду может только религия, считает Унамуно. Но католический догматизм с его рационализацией веры превращает религию в теологию, что мешает че-

ловеку верить. Ступив на путь научного решения проблемы, человеческий разум оказывается не в состоянии ее разрешить и приходит к абсолютному релятивизму, скептицизму. Скептицизм разума и шаткость веры бросают человека в моральную бездну — к трагическому отчаянию, но в этом отчаянии зарождается утешение — любовь. Однако любовь приобретает смысл утешения только при условии существования бога — личного и конкретного, дарующего человеку бессмертие. Заключительная глава посвящена программе практического жизненного поведения — этике «кихотизма».

В конце XIX — начале XX века «Дон Кихот» вышел на авансцену культурной жизни в Испании, наполнился совершенно новым смыслом и потребовал философского осмысления. То же самое и в ту же эпоху произошло в России. Более того: экзистенциальное отчаяние испанского философа, его напряженный поиск выхода из гносеологического тупика были хорошо знакомы русской философии начала XX века, а именно той ее ветви, ярчайшим представителем которой является Лев Шестов. Но эта тема еще ждет своего исследователя, а пока первый шаг — знакомство русскоязычного читателя с философскими страницами Мигеля де Унамуно.

Мигель де УНАМУНО

О ТРАГИЧЕСКОМ ЧУВСТВЕ ЖИЗНИ

«Я человек, ничто человеческое мне не чуждо»¹, — сказал римский комедиограф. Я бы сказал точнее: «Я человек, и никакой другой человек мне не чужд». Ибо прилагательное «человеческий», как и абстрактное существительное «человечество», не внушает мне доверия. Ни само прилагательное «человеческий», ни образованное от него существительное «человечество»

не идут ни в какое сравнение с конкретным существительным «человек». Тот человек, что рождается, мучится и, главное, умирает; тот, что ест, пьет, веселится, спит, размышляет, любит; тот, кого мы встречаем на каждом шагу, тот, кто родственен нам во всем, — человек из плоти и крови.

Что бы там ни говорили умники из тех, что мнят себя философами, выс-

ший объект и одновременно высший субъект всей философии — реальный человек из плоти и крови.

Именно человек должен интересоваться нас в философии прежде всего.

Возьмем, к примеру, Канта — не философа, а человека Иммануила Канта, конкретного мыслящего и чувствующего человека, родившегося в Кенигсберге и жившего в конце XVIII и самом начале XIX века. В философии Канта-человека есть резкий скачок (как сказал бы Кьеркегор — другой человек, и какой!) — скачок от «Критики чистого разума» к «Критике практического разума». Тщательно проанализировав в «Критике чистого разума» все традиционные доказательства существования бога, обнаружив их полную несостоятельность и отказавшись поэтому от бога, Кант вновь приходит к нему в «Критике практического разума» (что бы ни говорили те, кто не способен увидеть в философии человека). Но отказался Кант от бога аристотелевского, соответствующего его «существованию общественному», то есть бога абстрактного, так называемого неподвижного перводвигателя, а пришел к богу этическому, богу — создателю нравственных норм, лютеранскому богу наконец, ибо этот будущий скачок Канта уже заложен в понятии веры у Лютера.

Абстрактный бог, бог разума, есть проекция человека в бесконечность мира, но человека формального, человека лишь по определению, то есть нечеловека. Другой же бог, бог чувства и воли, есть проекция в бесконечность души реального, конкретного человека, человека из плоти и крови.

Кант восстановил в сердце то, что прежде разрушил в уме. Потому что и его мучил (это известно из его писем и воспоминаний друзей) тот единственно важный в жизни, пронизывающий все существо человека, вопрос нашей личной и неповторимой судьбы — вопрос о бессмертии души. Ибо Кант-человек, закоренелый холостяк, но отнюдь не отшельник, профессор философии в Кенигсбергском университете конца эпохи Просвещения — не мог смириться с тем, что его существование окончится раз и навсегда. Поэтому-то он и совершил свой бессмертный скачок от одной «Критики» — к другой.

Если прочесть «Критику практического разума» внимательно и непред-

взято, увидишь: существование бога выводится из бессмертия души, а не наоборот. Категорический императив ведет нас к этическому постулату, который, в свою очередь, требует, с точки зрения теологии, а точнее — эсхатологии, бессмертия души, и, чтобы утвердить это бессмертие, появляется бог. Все остальное — не более чем профессиональная ловкость философа.

Кант-человек видел в этике основу эсхатологии, профессор же Кант обнаружил обратную зависимость.

Другой философ и человек, Уильям Джемс² сказал (не помню где), что для большинства людей бог — это производитель бессмертия. Именно так, причём в это «большинство» входят и человек Кант, и человек Джемс, и человек — автор этих строк.

Как-то в разговоре с одним крестьянином я высказал такое предположение: «Если истинный бог — не тот, в которого мы привыкли верить, а Всеобщее Сознание, то, наверное, и бессмертия души, как мы его понимаем, тоже нет». И крестьянин спросил: «А зачем тогда бог?» Точно так же вопрошали себя в глубине души человек Кант и человек Джемс. Но, будучи философами, они обязаны были доказательно и рационально разрешить этот вопрос, имеющий так мало общего с областью рационального. Что, впрочем, не означает, будто он абсурден.

Знаменитое положение Гегеля: «Все действительно разумно, все разумное действительно», — убеждает не каждого. Я, например, думаю, что все подлинно действительно внеразумно, поскольку разум работает на иррациональной основе. Великий систематик, Гегель возмнил, что можно систематизировать весь Универсум, как тот артиллерийский сержант, сказавший, что пушка делается очень просто: берут дыру и обертывают ее железом.

Живший в начале XVIII века англиканский епископ и человек Джозеф Батлер³ (католический кардинал Ньюмен⁴ считал его крупнейшим деятелем англиканства) в своем капитальном труде «Аналогия религии», в конце первой главы, где речь идет о загробной жизни, написал такие многозначительные слова: «Вполне может оказаться, что вероятность загробной жизни, как бы мало она ни удовлетворяла нашим познавательным устремлениям, в той же мере соответствует всем основам религии, в какой соот-

ветствовала бы доказательствам науки. В действительности самое достоверное научное подтверждение факта загробной жизни еще не означало бы, что бог существует, поскольку этот факт прекрасно вписывается и в атеизм. Последний с тем же правом может утверждать бытие после смерти, как и наличие бытия сейчас. Утверждать же одно, отрицая другое — совершенная нелепость и бессмыслица».

Человек Батлер (труды его, вероятно, были известны Канту), стремясь укрепить веру в бессмертие души, отделил ее от веры в бога и соответственно построил свою «Аналогию», посвятив первую главу, как я уже говорил, загробной жизни, а вторую — богу, его власти на земле.

По сути дела, почтенный англиканский епископ вывел существование бога из бессмертия души и тем самым был избавлен от знаменитого скачка, сделанного в том же веке лютеранским философом. Они были разными людьми — епископ Батлер и профессор Кант.

А быть человеком — это значит быть чем-то конкретным, единым и субстанциальным, быть вещью. О том же, что такое вещь, хорошо известно из работ Спинозы, человека португало-еврейского происхождения, жившего в Голландии XVII века. Теорема ба третьей части его «Этики» гласит: «Всякая вещь, пока она существует в себе, стремится вечно длиться в своем существовании». Пока она существует в себе, другими словами, пока она является субстанцией, поскольку по определению Спинозы субстанция есть «то, что существует в себе и может быть понято через себя». И в следующей теореме 7а он продолжает: «Усилие, прилагаемое вещью для того, чтобы длиться в своем существовании, и есть ее истинная сущность». Это означает, читатель, что суть всякого человека (если, конечно, он человек, а не жалкое его подобие), в том числе и твоя суть, и моя, и Спинозы, и Батлера, и Канта — в этом самом усилии продолжать существование, в стремлении не умирать. И дальше, в теореме 8а он говорит: «Усилие, прилагаемое вещью для того, чтобы длиться в своем существовании, не является временным, оно — вечно». Все это означает, читатель, что ты, я, Спиноза хотим жить вечно, и наша жажда вечного существования есть наша истинная сущность. Но сам Спино-

за никак не мог поверить в свое собственное бессмертие; больной, несчастный, гонимый еврейской общиной, он создавал себе в утешение свою философию, заполняя пустоту, образованную в его душе отсутствием веры. Как болит рука, нога, сердце или голова, так у Спинозы болел бог. Бедняга! Как, впрочем, любой человек.

Определяют же конкретное лицо человека, делают его именно таким, а не другим принцип единства и принцип непрерывности. Единства, во-первых, в пространстве, осуществляемого благодаря телу, и, во-вторых, в волеизъявлении. При ходьбе ноги работают согласованно, и не может быть, чтобы одна нога шла вперед, а другая — назад, как не бывает, что один глаз видит одно, а другой в то же время — другое (если, конечно, исключить патологию). Любому нашему намерению всегда сопутствует сумма определенных действий, направленных на его осуществление, даже если это намерение вскоре сменится другим. В каком-то смысле каждый из нас человек ровно настолько, насколько цельно его поведение. Можно всю свою жизнь посвятить одной-единственной цели, какой — это уже другой вопрос.

Теперь о принципе непрерывности — он действует во времени. Не стоит спорить, я ли тот, что был мною двадцать лет назад, ведь мое сознание, непрерывно меняясь и развиваясь, постепенно превращало меня из того, чем я был двадцать лет назад, в меня сегодняшнего, — и это неопровержимый факт. Память — вот что определяет неповторимость личности, так же как предание составляет основу коллективной личности народа. Жить можно только в памяти и памятию, и наша духовная жизнь, по сути, есть не что иное, как стремление нашей памяти продолжаться, становясь надеждой, стремление нашего прошлого стать будущим.

Я понимаю, что говорю прописные истины, но то и дело приходится сталкиваться с людьми, которые не чувствуют в себе себя. Один мой близкий друг на все мои слова о собственной индивидуальности неизменно отвечал: «А я не ощущаю в себе именно себя, я не знаю, кто я».

Как-то он сказал: «Я бы хотел быть . . .» (тут он назвал имя своего знакомого), и я ответил: «Никогда не пойму, как можно хотеть быть кем-то другим. Ведь это означает перестать

быть собой. Я понимаю, что можно стремиться к знаниям, которыми обладает другой человек, или к его богатству, но хотеть быть им — этого я понять не могу».

Как часто приходится слышать, что несчастный человек предпочитает оставаться собой, пусть даже со всеми своими бедами, нежели сделаться счастливым, но кем-то другим. Потому что предпочитает несчастье небытию, если, конечно, он здоров, то есть если в нем живое стремление существовать вечно. О себе могу сказать, что даже в детстве меня не пугали самые устрашающие картины ада — уже тогда я понимал: нет ничего страшнее, чем само ничто. Уже тогда меня мучила жестокая жажда существования, тяга к божественности, как сказал Паскаль.

Уговаривать человека стать другим — все равно что просить его умереть. Человек всегда стремится сохранить себя, и если меняет свойственные ему мысли и чувства, то лишь в том случае, когда это изменение не нарушает единства и непрерывности его внутренней жизни, когда оно полностью соответствует его собственному способу жить; мыслить, чувствовать, когда оно тесно связано со всем, что хранит его память. Нельзя требовать ни от человека, ни от народа (который в известном смысле тоже человек) перемены, способной разрушить единство и непрерывность его личности. Человек может очень сильно измениться, стать почти неузнаваемым, но только в рамках принципа непрерывности.

Если же от него отступают, то изменение личности носит патологический характер и становится предметом исследования психиатров. При этом полностью разрушается память — основа сознания, и бедняге больному остается лишь тело, в котором длится его индивидуальная — но уже не личностная — непрерывность. Заболеть так — все равно что умереть, и только для тех, кто болен от рождения, эта болезнь не равнозначна смерти. Во всех других случаях она несет с собой полный внутренний переворот.

В известном смысле любая болезнь — это некое органическое разобщение.

Если что-то во мне стремится разбить единство и непрерывность моего существования, значит, оно стремится убить меня, а тем самым и себя. И всякий,

кто разрушает духовное единство и непрерывность своего народа, несет гибель народу и себе, как малой частице народа. Но зачем? Разве народ станет от того лучше? Да если бы и так, хотя едва ли мы можем судить, что лучше и что хуже. Народ станет богаче? Допустим. Культурнее? Допустим и это. Счастливее? Сомнительно, хотя, впрочем, пусть так! Народ выйдет победителем, а мы останемся побежденными? В добрый час! Все это прекрасно, только народ-то станет тогда другим. И этим все сказано. Ибо если я становлюсь другим, разрушая единство и непрерывность своего бытия, значит, я перестаю быть собой, а вернее, просто-напросто перестаю существовать. Это и страшно. Все, что угодно, только не это.

«Я, я, я, только и слышно: я! — может воскликнуть кто-то из читателей. — А что ты такое?» Тут к месту ответ Обермана³, человека богатейшей души: «Для Универсума — ничто, для себя — все». Но еще лучше вспомнить Канта, который учит, что всякий человек есть цель, но не средство. Это относится не только ко мне, но и к тебе, мой ворчливый читатель, ко всем и каждому. Ведь логика утверждает, что единичный разум равенцен универсальному и единичное — не частное, но всеобщее.

Человек — цель, но не средство. Цивилизация — для человека, для каждого человека, каждого «я». Так почему все вместе и каждый в отдельности должны жертвовать собой ради идола, зовущегося человечеством? Я приношу себя в жертву ради моих детей, близких, моих соотечественников, они жертвуют собой ради своих близких, а те, в свою очередь, — ради своих, и так без конца. Кому нужны все эти жертвы?

Те, кто настраивает нас на эту выдуманную басельную жертву, твердят о праве на жизнь. Что же такое — право на жизнь? Мне говорят, что я пришел в мир для осуществления каких-то социальных целей, но, по моему, я, да и всякий человек приходит в мир для самоосуществления, для того, чтобы жить.

Нет, я не отрицаю ни громадную социальную энергию, ни мощь цивилизации, все это имеется: наука — в изобилии, искусство — в изобилии, промышленность — в изобилии, мораль — в изобилии, но через какое-то время,

заполнив мир чудесами индустрии, огромными заводами, дорогами, музеями, библиотеками, мы в изнеможении упадем у подножия сотворенного нами, и кому тогда все это будет нужно? Что для чего: человек для науки или все же наука для человека?

«Человеческая душа стоит всего Уинверсума», — не помню, кем это сказано, но сказано превосходно. Именно человеческая душа, а не жизнь. (Речь, конечно, не о потусторонней жизни.) Ведь бывает, что человек, постепенно теряя веру в душу, то есть в ее конкретность, личностность и, самое главное, в бессмертие, начинает преувеличивать ценность преходящей, ничтожной жизни. Именно отсюда все малодушные страхи перед войной. На самом же деле страшна не физическая смерть, а другая. Ведь сказано в Евангелии: «... кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее»⁶. Не жизнь надо беречь, а душу; верить в бессмертие души и желать его.

Приверженцы объективизма намеренно игнорируют тот факт, что, утверждая свое «я», свое неповторимое сознание, человек утверждает себя — конкретного, реального человека, а тем самым и подлинный гуманизм, ведь подлинный гуманизм имеет в виду реального человека, а не что-то отвлеченно человеческое. А утверждая себя, человек утверждает сознание. Ибо единственное сознание, известное нам, — сознание человеческое.

Мир существует для сознания.

И вся трагическая борьба человека за свое спасение, эта бессмертная жажда бессмертия, заставившая Канта совершить свой знаменитый скачок, есть не что иное, как борьба за сознание. И если сознание — всего лишь вспышка света в мраке вечности, как выразился один мыслитель-негуманист, то нет ничего ужаснее жизни.

Наверное, можно найти противоречие в моих рассуждениях: то я желаю вечной жизни, то говорю, что жизнь гроша ломаного не стоит. Противоречие? Да, конечно. Противоречие между сердцем, говорящим «да», и умом, говорящим «нет». Всякий знает слова из Евангелия: «Верую, Господи! помоги моему неверию».⁷ Несомненно, это противоречие. Потому что только противоречием жив человек, потому что жизнь — это трагедия, которая заключается в непрестанной борьбе, заранее

обреченной на поражение, борьбе без малейшей надежды на победу.

А философ должен быть человеком, в противном случае он — не философ, а формалист, или, иными словами, пародия на человека. В других науках — химии, физике, геометрии, филологии — наверное, возможна узкая специализация, но и там на ней далеко не уедешь. А в философии и подавно. Тут она превращается в пустое философствование, в псевдофилософскую эрудицию, ведь философия, как и поэзия, есть соединение всех отраслей человеческого знания, есть высшее знание.

У всякого знания есть цель. И если цель научного знания — в знании, следующим за ним, то философское знание имеет совсем иную, внешнюю относительно себя цель: речь идет о судьбе человека, о его отношении к миру и жизни. И самое трагическое в философии — ее стремление примирить разум, чувство и волю. Тут терпит крах всякая философия, стремясь разрешить вечное и трагическое противоречие — основу нашего существования.

Вспомните Спинозу-человека, этого голландца португало-еврейского происхождения, прочтите его «Этику» такой, как она есть — как печальную безнадежную поэму, и тогда простые, на вид спокойные фразы, изложенные геометрическим способом, отзовутся в вас скорбным эхом пророческих псалмов. Когда он писал, что свободный человек ни о чем не думает так мало, как о смерти, и что в этом-то и состоит его мудрость — размышлять не о смерти, а о жизни, — он, как и все мы, чувствовал себя рабом, думал о смерти и старался, пусть тщетно, освободиться от этих мыслей. Формулируя теорему XLII части V о том, что «счастье не есть награда за добродетель, но есть сама добродетель», он наверняка не чувствовал этого. Но для того и философствуют люди, чтобы убедить в чем-то самих себя, хоть и не достигая цели. Это желание убедить себя, принудить к чему-то собственную человеческую сущность обычно и есть подлинная исходная точка всякой философии.

Откуда я пришел и откуда взялся окружающий меня мир? Куда я иду и куда движется все, что меня окружает? Какой во всем этом смысл? Такими вопросами задается человек, стоит

только ему освободиться от отупляющих забот о хлебе насущном. И если вдуматься, становится очевидным, что под этими вопросами кроется желание знать не столько «почему?», сколько «зачем?», знать не причину, но цель. Цицерон в своем знаменитом определении философии назвал ее «наукой о божественном и человеческом и о причинах существования божественного и человеческого». Но не причины важны нам, а цели. И Высшая Причина — Бог есть не что иное, как Высшая Цель. Под каждым нашим «почему?» скрывается «зачем?». Мы хотим знать, откуда пришли только для того, чтобы установить, куда идем.

Почему я хочу знать, откуда пришел в мир и куда уйду из него, откуда берется и куда уходит сам этот мир? Да потому, что я не хочу умереть полностью и хочу знать определенно, умру я или нет. Если не умру, то что будет со мной? А если умру, тогда ничто не имеет смысла. Возможны три

варианта: а) я знаю, что умру полностью, и в этом случае — безнадежное отчаяние; б) я знаю, что умру, но не полностью, тогда можно смириться; в) я не могу узнать, умру или нет, и этим незнанием обречен на покорность в отчаянии или отчаяние в покорности, на безнадежную покорность или покорную безнадежность и борьбу.

Лучше всего, — может сказать кто-нибудь, — не думать о том, чего не суждено узнать. Но нельзя подавить в человеке инстинкт познания и, в особенности, познания того, что ведет к вечной жизни. Именно к вечной жизни, а не к вечному познанию. Потому что жить — это одно, а знать — другое. Существует глубочайшее противоречие между жизнью и знанием. Можно даже сказать, что все живое не только иррационально, но антирационально, а все рациональное — антижизненно. Именно это противоречие и лежит в основе трагического чувства жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Реплика из пьесы римского комедиографа Теренция (ок. 195—159 до н. э.) «Самоистязатель».
2. Джемс Уильям (1842—1910) — американский философ.
3. Батлер Джозеф (1692—1752) — английский мыслитель.
4. Ньюмен Джон Генри (1801—1890) — английский теолог и церковный деятель.
5. Оберман — заглавный герой романа французского писателя Этьена де Сенанкура (1770—1846).
6. Мф, 16, 25.
7. Мк, 9, 24.

Перевод с испанского и примечания **Татьяны ГОСТЮНИНОЙ**

МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТО-ТО ЕЩЕ И ПОЛУЧИТСЯ

Сборник получился никаким — если о литературе. Конечно, мало ли никаких выходит, да беда в том, что в Риге — каких-угодно мало (этот — единственный лет так за двадцать), вот и обидно, что возможность книги, которую вполне можно было сделать небесмысленной и сильной, упущена.

Никаким сборник получился по нескольким причинам. Прежде всего — уровень большинства представленных в нем произведений весьма невысок, а тексты приличные — надежно погребены остальными (в данном случае пострадала поэзия). Сборник никакой и потому, что не представляет никого и ничего. Никого — поскольку авторов много и размеры приходящейся на каждого подборки малы, кроме того — сам принцип устройства подборок: нет сомнений, что сами авторы к тем отношения не имели (а иначе, например, нельзя понять, почему у Ивлева, работающего вполне регулярно и хорошо, в книге помещен текст, датированный 1978 годом). Не представляет ничего — потому что сборник, конечно, не представляет литературу определенной, скажем, школы, круга. Сборник не представляет даже литераторов одного поколения — что имело бы шанс на хотя бы социологический интерес: в сборнике участвуют люди двух, минимум, поколений, причем разница в возрасте участвующих в сборнике «молодых литераторов» достигает двух десятилетий (младшим — тридцать).

Голоса. Сборник. Проза и поэзия / Сост. В. Бааль — Р.: Лиесма, 1989.

Не представляет сборник и рижскую литературу — в этом случае принцип его формирования исключил бы специальное внимание к молодым, а если «молодую рижскую» — то за пределами сборника остались весьма серьезные литераторы (Г. Гондельман, О. Золотов, В. Руднев). Сборник не представляет даже пристрастий составителя, выступившего в данном случае — судя по предисловию — не составителем, но избирателем. Остается процитировать предисловие и согласиться с тем, что издание представляет «молодых русскоязычных литераторов Латвии, непрофессионалов и не членов творческих союзов», а предназначен для того, чтобы «укрепить веру наших авторов в полезность и значимость их труда». Цель сборника, иными словами, исключительно психотерапевтически-воспитательная.

Не особенно удивляясь тому, что вышеупомянутая цель заданно выводит сборник за пределы литературы, отметим, что сама возможность подобной целеустановки вполне отвечает нравам института «работы с молодыми авторами» и отражает сложившееся на Руси мнение о том, что каждая публикация — подарок автору. Видимо, от государства. Что также тема для разговора.

Три основных положения рецензии: рижская литература (так вкратце будем именовать здесь литературу на русском языке, делаемую литераторами, живущими в Латвии); «проблемы подготовки надежной литературной смены»; поколение тридцатилетних

русских литераторов Латвии. И еще — четвертое — отношения между «русской литературой в национальной республике» и русской литературой.

Еще одно предуведомление — под литературой будет иметься в виду именно литература, а не способ и результат фиксации на бумаге плодов занятий «активным строительством своей личности», притом, что правомерность и, видимо, безрезультатность подобного отношения к письму отрицать нельзя. Но это дело пишущих, а не читающих. Нижеследующее отношения к авторам сборника иметь почти не будет. Речь о положении сборника в четырех вышеупомянутых контекстах.

Начнем с «литературной смены». То есть о том, каким образом пишущих становится больше. В теперешней литературной ситуации (не рижской, общей) существуют два способа входа человека к текстам в литературную среду (не говоря об очевидном третьем — когда тексты просто приносятся, либо присылаются в журналы: судьба «самотека» известна и, в общем, логична. Не говоря и о возникшем теперь четвертом — публикации за свой счет и т. п., что это — пока непонятно, то ли коммерция, то ли начало естественных отношений писателя с рынком). Первый вариант: через различные литобъединения, которые, в принципе, предполагают небольшую карьеру автора от ЛИТО при заводе к ЛИТО при газете, приводя, наконец, его в секцию молодых литераторов при СП. При подобном движении молодые общаются с (в той или иной мере портящими им жизнь) мэтрами, в том числе — занимающими те или иные посты в издательствах, СП, комплекующими те или иные сборники. Это такой медленный и почти надежный поступательный рост советского литератора. Казалось бы, именно этот вариант и представлен данным сборником, но это не так. Дело, конечно, в местной специфике — в Риге околосовинсовская-околоиздательская мафия сформироваться просто не могла: ни русская секция СП, ни издательство не обладают особенными возможностями продвигать к публикации того или иного автора, тем более — учитывая регулярные сдвиги планов русской редакции «Лиесмы» и постоянное сокращение издательских позиций, отводимых оригинальной русской литературе. Собственно, это и не главное, в

рижской русской писательской среде просто нет никаких противоборствующих группировок, а именно подобные группировки склонны вербовать себе сторонников методами совещаний, коллективных сборников, объединений при издательствах и журналах, обеспечивая постоянный и активный состав команды.

Второй из существовавших доселе вариантов — жизнь в андерграунде. Здесь не идет речь о художественном мировоззрении андерграунда, вполне, отметим, разнообразном. Речь идет о публикациях в самиздате — вовсе не обязательно социализированном. Там ситуация мэтр—ученик практически невозможна, вход туда не означает начала некоего курса обучения, речь может идти о выборе традиции, поисках школы — что в ослабленном варианте дает поиски компании или близкого по ощущению литературы самиздатовского журнала. Но там может прижиться человек, лишь уже обладающий собственным мировоззрением и что-то из себя представляющий как практик. В общем, он должен прийти туда уже с серьезными текстами, речей о строительстве своих личностей там не ведут. Тамояняя среда достаточно демократична и вполне жестка. До последнего времени в Риге не было и этого, притом, что связи между пишущими, разумеется, существовали — вполне не формальные (особенность литстудии при СП заключалась как раз в том, что она существовала сама по себе, без управления мэтрами, таким образом, официальная вроде бы структура породила среду вполне неофициальную).

Далее не обойтись без обращения к вещам серьезным в той же мере, что и сама литература. Два варианта — «официальный» и андерграунда не в последнюю (а для андерграунда, думаю, чуть ли не в первую) очередь служат тому, чтобы человек ощутил наличие некоторого культурного пространства, куда, сообщениями, и должны направляться его тексты. Не только, впрочем, ощутил — чтобы там работал. Такие культурные пространства могут создаваться идеологией, а могут — пушкинским «Современником», «Аполлоном», «Митиним журналом», «Сине-Фантомом». При этом внутри таких сред, за счет пространственной близости участников, частное авторство последних почти или немно-

го отменяется в пользу существования соответствующего пространства. Есть, конечно, вариант индивидуальный, когда человек в состоянии создать такое пространство только своими усилиями. Но это случай крайне редкий. Если подобное пространство устраивается с помощью внеположенностей, например — идеологическими, идейными установками, то работая внутри него, авторы заведомо ограничены этими установками, развить пространство изнутри они не смогут, собственно это и не предполагается. Подобное пространство также вполне может быть выстроено одними лишь «местными условиями». Этот вариант, очевидно, весьма отвечает рижской ситуации, с него и начнем. И тут же, говоря о сборнике, придется увидеть, что даже этот очевидный вариант реализован не был — заметнее всего это по прозе: все тексты (за исключением разве вполне рижских рассказов Дукальского) к Риге, да и к Латвии не имеют никакого отношения. Речь не о том, что это почему-либо хорошо или плохо, просто не используется возможность. Происходящее в прозаических текстах сборника по странной прихоти тяготеет к сельской прозе со вполне невнятным местом действия. Все это как-то настолько нигде, что текстам так и не удается начать существовать. Странно, ведь, казалось бы, проще простого взять с полки рижский вариант культурного пространства и работать там. Значит, такой среды нет вовсе.

Речь, упрощая, может идти о традиции — которая не только удобное место, где можно чувствовать себя надежно и умным, но и точка отсчета, опоры или отталкивания для дальнейших разработок.

Понятно, что для русских (не только рижан) на протяжении последних десятилетий литература (культура) была единственным пространством жизни для живого человека. И, являясь таким пространством, почти автоматически входила в противоречие с пространством внешним, образуя вполне внятную и прочную оппозицию давлению этого мельтешения. Там, внутри культуры, на идеологию, на внешнюю жизнь могли вовсе не обращать внимания, могли взглянуть мимоходом, могли с ней бороться, использовать ее реалии, могли ее исследовать и изобрести соц-арт. Но это — в России. Не то в Латвии, в Риге, где русский куда

более отчужден от государства и с идеологией (в силу национальных либо никаких верхов) напрямую связан не был и не будет. Противостояние, давление существовали косвенно — через газеты, телевидение, бытовую жизнь. Культурной оппозиции не было. И потому противостояние осуществлялось не в общем культурном — осуществлявшем бы прямую оппозицию — пространстве, а в пространствах частных, личных, при сравнении которых между собой было не просто понять даже систему отношений к одним и тем же вещам: таких проблем не было бы, имейся устойчивый общий круг, постоянная, скажем, тусовка. Тексты поэтому и желали стать средством авторского развития — в лучшем случае, обычно же оставаясь вариантами самоутверждения и способом авторефлексии. Существовая вне культурного пространства, литература всегда будет стремиться стать графоманской и другой, судя по всему, оказаться не сможет. Если не учитывать редкий случай устройства пространства индивидуального.

Почему пришлось столь задержаться на этом пространстве? Ведь здесь речь вовсе не о нем — о нем лучше бы говорить, говоря о текстах, к нему относящихся? Как раз нет — тогда возникли бы другие темы для разговора: вполне уже конкретные, по существу текста. Но вынужденная, за отсутствием таких конкретных тем, задержка на нем позволяет сказать, что, всасывая в себя пишущего, заставляя его дописывать себя новыми текстами, пространство одновременно предоставляет ему знание своей структуры, предоставляет способность понимать, что правильно, а что — неправильно: выработывая, что ли, индивидуально-авторские критерии оценок. Что до критериев, то речь не о «хорошо-плохо», но о существенности либо мнимости конкретного текста. Понятие «коллективных действий» вовсе не абсурдно даже для литературы, где, казалось бы, все надежно разведены по своим бумагам (вот, например — цитируется в пересказе — фраза из письма В. Нарбиковой В. Рудневу. Там говорится о том, что все мы, в результате, подпишемся под одним большим текстом. Так, но это восемьдесят восьмой год, и тогда участие в написании подобного текста рижане уже принимали. Тексты же

сборника относятся к временам гораздо более ранним).

Оценки всегда субъективны, но ощущение, жизнь в пространстве культуры (безразлично, как туда попал — через традицию, школу или индивидуальные усилиями) позволяет свести субъективизм к минимуму. Речь-то ведь даже не об оценках, но о том, что существование там требует чувства собственного достоинства пишущего, совершенно необходимого там, где присутствуют не только твои приятели, а и вообще все, что сделал что-либо приличное (что не пантеон, но рабочая обстановка). Речь о том, что, воспринимая их всех как коллег, человек вряд ли сможет позволить себе написать что-нибудь вроде: «За два года до начала войны, в теплых молочных сумерках, он подстерег Анну в поле, когда та доила корову». Или: «Зачем бедовать наяву? Ведь есть беспечальные выси! Я думала — век проживу, от воли чужой не завися». Ситуация литератора, находящегося вне подобного пространства — ситуация вовсе не свободы, но своеволия, позволяющего считать любую самодельную ерунду художественным текстом.

Это пространство, конечно, не допускает своего полного объяснения в рассуждениях по косвенному все же поводу. Полного объяснения, собственно, оно не допускает вовсе, можно только говорить о связях, существующих между ним и нами, реализующихся в чем-то происходящем то ли в мозгу, то ли над головой, отзванивающих резонансом со временем, требующих переработки его, столь свободно нам достоящегося, в тексты, осуществляя что-то схожее с постоянным призмением неба; связи реализуются и в таких обыденных вещах, как город, его среда с общими элементами жизни, местными повадками, локальными традициями.

В Риге до последнего (хотелось бы надеяться, что только до последнего) времени такой среды не было. Не было даже общего отношения к здешним реалиям и семантикам. Традиции не было, наше поколение (тридцатилетних) себя заведомо отдельным не предполагало, традиция была бы воспринята естественно и многим бы облегчила жизнь (уже и не понять — хорошо бы это было или нет). Не сомневаюсь, что рижские литераторы старших поколений вполне хорошо от-

носятся к тому, что они в Риге и т. д., видимо, что-то знают о русской литературе здесь до сорокового года, впрочем, знание это осталось практически нереализованным. Но воспринять традицию от этого поколения, при самом доброжелательном к нему отношении, оказалось невозможным. Традицию даже не конкретного типа рижской литературы, но просто — рижской модели существования русского литератора. (Не так огульно — здесь не об отдельных людях, но о ситуации в целом, заниматься же частными разборками не представляется уместным.)

Впрочем, лет пять назад на короткое время возник термин «рижская школа поэзии». Тогда группа русских рижских поэтов выступала в Москве, на каком-то мероприятии в СП СССР, и москвичи обнаружили, что, оказывается, в Риге есть хорошие русские поэты. Все приехавшие были тут же наречены «рижской школой» (там были, кажется, Азарова, Николаева, Добровенский, Дозорцев). Далее разговор на эту тему не продвинулся — потому, думаю, что школы никакой не было, а была стилистическая, настроенческая близость жизни в иных ландшафтах и при другой погоде, плюс желание москвичей оттянуться — на вполне даже не обязательно упоминаемых в текстах — домских соборах, фонарях, бережках и пр. В центре обоймы любят, списки делают жизнь ясной, простой, вполне понятной и закономерной. Хуже, что сей термин был с благодарностью воспринят в Риге. Это, впрочем, уже о другом.

Пространство, возникшее, наконец, во второй половине восьмидесятых, было не вполне создано самостоятельно, но отчасти перенято из союзного андерграунда, сближение началось где-то в годах 82—83-м (все, конечно, очень связано — эти годы для нынешних тридцатилетних оказались весьма существенными: тогда были написаны чуть ли не лучшие пока, до сих пор практически неопубликованные стихотворения Варяжцева, сильно работать начал Ивлев, мощный блок текстов был написан Гуданцом, всерьез стал писать прозу Руднев). Тогда же начали устраивать связи рижан с Москвой и Ленинградом — через личное общение, тогда и там никого еще не печатали. Нравы и отношения союзного андерграунда были перенесены в Ригу — так, собственно, получилось как-

то само собой, впрочем, в Риге к тому были все предпосылки: по крайней мере личное рабочее литературное пространство большинства рижан обязательно содержит в себе ключевой фигурой Мандельштама — что было так еще до общения рижан с коллегами. Это — как не вполне частный пример — характерно именно для андерграунда, но вовсе нет — для русской литературы в России в целом. В общем, эти нравы и жизнь в Риге прижились настолько прочно, что официальный «Родник» напоминает — по крайней мере по его авторам — журнал вполне неофициальный (здесь, кстати, на опыте того же «Родника» можно отметить, что рижане вошли в андерграунд не только естественно, но и с текстами, не требующими оправдания публикации термином «местные авторы»).

Таким образом, возникла весьма странная ситуация — в Риге нет структуры официальной советской литературы. Нет — не считая вполне тупиковых ЛИТО — структур никаких других, кроме андерграунда. Поэтому все возникающие литературные проблемы носят характер уже заведомо не местный, напротив — проблемы андерграунда оказываются проблемами рижан. Речь не о союзном конфликте «западников» и «славянофилов», дело в том, что рижане подключились к андерграунду, аккуратно попав к окончанию некоторой фазы его существования; не обжившись там — нарвались на кризис, связанный с делами как литературными, так и общественными, социальными. Другое дело, что все это автоматически сняло вопрос провинциальности рижан — изрядно, насколько это можно было заметить по различным публикациям недавнего прошлого, досаждавший литераторам старшего поколения: в андерграунде такого понятия нет, в его структуре нет кремля. Отдельное, вне метрополии, географическое положение рижан определяет теперь просто то, что мы пишем на русском, но мы — другие. Не лучше и не хуже, другие. И не то, чтобы тем и интересны, просто — другие. (Если охарактеризовать эту иначе — кратко, то можно сказать, что по сравнению с коллегами рижане более холодны, едки, не социальные. И я не говорю здесь о наличии опыта отношений между русской и латышской культурами — просто потому, что столь

очевидные вещи обговаривать не представляется необходимым. Конечно, все это прибавляет опыта, но самостоятельного — определяющего, точнее — значения иметь для русских не может.)

Что до сборника, то его неудача вполне определяется нелепостью исходного подхода: попыткой сделать что-то из литературы в официализированных формах — при отсутствии в Риге официальной среды. Впрочем, мне неведомы и удачные попытки подобных сборников в каких угодно иных местных условиях. Здесь, видимо, речь может идти о принципиальной лживости практики того, что в предисловии обозначено как: «способствовать подготовке надежной литературной смены». Думаю, сборник вполне надежно демонстрирует полное отсутствие смысла в подготовке «смены» посредством разнообразных ЛИТО, равно как и «выявления» одаренных и способных централизованными методами (в данном случае хочется лишь порадоваться факту рацензирования сборника тов. Курмаевым — факт, видимо, соответствует профессионализму уж не знаю кого, если и не в литературе, то в «подготовке надежной смены»).

Фальшива сама идея подготовки этой самой смены (уже и не говоря о том, что людей учат, как писать), людей реально готовят как смену — методами почти армейской муштры, готовя смену в традициях планового ведения хозяйства. Государству требуются литераторы. Их, следовательно, надо готовить. С определенными, понятно, государственными целями. Спорить тут не о чем, это такое представление о том, что есть литература и для чего она нужна.

Не следует считать, что стоит выбирать андерграунд местом работы — и все проблемы снимаются. Уже упоминался его локальный кризис, всегда, разумеется, полно проблем чисто творческих. Сложно с преемственностью, ведь андерграунд слабо предполагает существование в нем отдельных учителей и учеников — он и возник на отсутствии подобных отношений, основываясь на самостоятельности (даже в рамках некоторой конкретной школы) участников, каждый из которых был известен весьма ограниченному кругу профессионалов и окружения. Все были равны, никто ни на кого не ориентировался. Теперь — внутри

того же андерграунда — новые участники вынуждены каким-то образом ориентироваться по людям старшего поколения. Что из этого получится — непонятно. Впрочем, теперь возникает новая волна неофициальных журналов. (Говорить о выходе людей андерграунда в официальную печать нельзя — выходят отдельные и люди и тексты: в журналах, как правило, структуру и ценности андерграунда не реализующих. И в качестве «своих» по-прежнему выступают журналы самиздатовские.)

Но это все дела внутренние. Что до внешних, читательских, то заключить все можно краткой исторической справкой. Сборник «Голоса» начал оформляться в семидесятых — отсюда в него, теперешний, перешла чуть ли не вся проза. Тогда попытка заглохла, была повторена в 1982 г., предполагалось, что сборник выйдет в 1984 г., тогда назывался он «Глаза», между собой, цитируя кого-то из латиноамериканцев, будущие его участники (часть оных) именовали его «Глазами погребенных», а также — «Братской могилы». Теперь он стал «Голосами», тем самым еще более укрепив свое потустороннее звучание. А за это время те, кто должен был расписаться, —

расписались. Л. Могилев занялся прозой — и удачно, Ю. Касянич занялся прозой — и тоже неплохо (из сборника его, впрочем, выкинули — как успешного выпустить книжку); регулярно появляются журнальные подборки у Ивлева, опубликована кое-какая проза Руднева. Регулярно печатаются Золотов и Гондельман, места которым в сборнике не нашлось, видимо, по малолетству. Хуже с Арвидом Козловским — прозаиком обернутого толка и вполне союзного уровня, хуже с Линдерманом: надо думать, в ближайшем будущем положение исправится. Без книг за это время остались Кольцов — а книга могла быть издана лет десять назад и была бы важной для автора. Без книг — Эрика Кальки, Кварта, Тепляков, Ошуркова, те же Варяжцев, Ивлев, Руднев, Гондельман, Могилев, Золотов... И вряд ли эти книги (вполне уже написанные) появятся в ближайшее время (такое положение, кстати, вынуждает латышских коллег публично сетовать на отсутствие в Риге серьезного слоя русской гуманитарной культуры), если и появятся когда-либо вообще. Зато существует самиздат, на что и предлагаю обратить самое серьезное внимание литераторам младшего, не упомянутого здесь поколения.

Алексей ИВЛЕВ

КОГДА РУХНЕТ СТЕНА

ЗАМЕТКИ О «ТРЕТЬЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ», № 10

Как бы то ни было, альтернативная культура уверенно входит в окружающий нас миропорядок. Мы уже не удивляемся существованию «Атмоды», «Экспресс-хроники», «Свободного слова» и других независимых политических изданий. Что же касается изданий литературных, они до сих пор — из-за мизерных тиражей — удел немногих. Однако похоже, что такому ненормальному положению будет положен конец — десятый номер альтернативного журнала «Третья модернизация» вышел тиражом 200 экземпляров... Следующий, изданный в нормальных типографских условиях, — и

того больше. Стена скоро рухнет... Что мы увидим за ней?

О седьмом номере журнала со страниц «Даугавы», № 143, нам уже было рассказано, поэтому я не буду останавливаться на характеристике издания и его месте в ряду подобных, а сразу перейду к содержанию номера и размышлениям, которые оно вызвало...

Открывает номер поэзия трех авторов — Михаила Кондратьева, Юлии Кисиной и Аркадия Застыльца. Авторы эти сравнительно молоды и в официальной печати, за исключением Кисиной («Родник», № 8), не публиковались. Тем не менее, стихи их зрелы и

самостоятельны. Их можно отнести к продолжателям дела метареалистов (Парщикова, Еременко, Жданов).

Проза — более разнообразна по стилям (Ольга Комарова — суровый реализм в духе Петрушевской, Вадим Руднев — «новая проза», более всего созвучная разве что Саше Соколову, Аркадий Бартов — «концептуализм Бартова», Геннадий Кацов — «эротизм-по-советски»).

В номере есть материалы, как теоретически (Эдуард Надточий «Друк, товарищ и Барт», Борис Борухов «Вертикальные нормы стиля: Дмитрий Пригов»), так и практически (Аркадий Бартов «Пять описаний одного текста», Владимир Друк «0—9») дающие возможность познакомиться с относительно новым для широкого читателя направлением — концептуализмом.

Поэма Друка — еще один шаг этого поэта к концептуализму. Из спекшегося шлама «кидиотской» информации телефонного справочника, уличных «реклам», цитат из общеизвестного, составляющих шумовую сцену театральной по принципу воздействия поэмы, прорывается, будто сквозь эфирный коротковолновый скрежет, клинически-озорной голос (предположительно — «лирического героя»): «Ленок! Можно я приеду к тебе почистить зубы?»

Концептуализм, несмотря на нарочито-ироническую оптику, направление серьезное... Является ли прочитанный тобой чужой текст таким же чужим, как и до прочтения? Или он уже — часть твоего сознания и в некотором смысле — твоя собственность, и ты имеешь право рассматривать его либо как сырье для собственного творчества, либо как некую условную истину, нуждающуюся в опровержении? Эти вопросы рассматривает (воспевая) Аркадий Бартов, занимаясь «кидиотскими» описаниями некоего идиотского текста. Идиотскость текста, помноженная на «кидиотскость» описаний, в итоге дает неожиданный мифологический эффект, возводит гипотетический «первоначальный текст» в степень сакрального знания, обладающего известным психотерапевтическим воздействием.

Поэтическая манифестация Ольги Лепестковой и «тезисы» Бориса Юхананова отчасти знакомят нас с поэтикой «параллельного кино», тяжело, но уверенно всплывающего сегодня из пучи-

ны андерграунда (несколько фильмов этого движения, в том числе и Юхананова, демонстрировались на кинофестивале «Арсенал» в 1988 году). Из собственно поэзии, представленной в № 10, наибольший интерес у меня вызвала поэма Сергея Магида «2005 год». Если другие поэты концентрируют свое внимание на в общем-то давно знакомой аллергии, Магид без принудительного бегства в эстетику размышляет над прозой жизни, рассматривает вопросы, остро вставшие как перед сорокалетним поэтом, так и перед обществом в целом, вопросы, в основе которых — национальные и общечеловеческие ценности, их взаимодействия и противоречия. Эта поэма — наконец-то! — современна — то есть написана сейчас, в неверный час, «когда дарят муляж свободы по инструкциям», «когда обязанность платных писак начать кампанию самоедства называется гласностью». В это наше «сегодня», когда можно по-разному относиться к Горбачеву, но слушать Евтушенко уже неудобно. Поэма пронизана истинно-героическим усилием человека, отстаивающего свое право быть тем, кем он является: поэтом, евреем, чей родной язык — русский, истинным интеллигентом.

Вдохновительница, муза поэта — хорошее самочувствие, настроение. Поэт должен быть по-особому спокоен и уверен в себе плюс капелька свободы... К такому состоянию располагают тысячи причин (в том числе и удачное выступление, публикация), но главная причина все же в самом поэте... Поэты «четвертого блока»: Ианко Пидзис, Ов Бермудский, Саша Рыжий, Симеон Жилец и другие в том или ином смысле и степени — поэты-монстры, едва выравнившиеся (вырывающиеся) из наглухо запертой обязательной бани (возможна ассоциация не только с пьесой Маяковского, но и с кинофильмом «Иди и смотри») своих тоталитарных комплексов... На недавней встрече с коллективом пожарного депо имени Рэя Брэдбери поэт Ианко Пидзис (один из авторов «блока») сказал примерно следующее: «Я пишу стихи о странном, чудесном, таинственном — в себе и мире. В советское время я писал стихи, больше всего соответствующие понятию «социальные», не потому, что я социальный поэт, но потому, что находил ту социальную жизнь наиболее

странной стороной бытия...» В таком высказывании есть нечто справедливое для всей альтернативной культуры... Очень долгое время (всю жизнь) для нас была актуальна задача не столько самовыражения, сколько выживания. Выжить, не идя на компромиссы с системой, — это и было в подавляющем ряде случаев (да и остается темой) и источником вдохновения... Поколение тридцати-сорокалетних — пожалуй, первое здешнее поколение, которому это удалось... Удастся... Однако слишком много сил ушло (уходит) исключительно на выживание. Ведь и сейчас многие из нас — с большим или меньшим успехом, но — продолжают выживать, а не жить... В целом это — конечно — замкнутый поиск достойного способа существования для того, чтобы не умереть. Иными словами, наше творчество — еще и способ убить время, отпущенное для того, чтобы жить в нем. Ради Вечного. Ради Литературы.

Творчество как-то скрашивает это небытие, дарит мгновения иллюзорной (а значит — подлинной) значимости и даже власти над временем... В этом смысле творчество (для особо заинтересованных) — наркотик. Именно благодаря его наркотическому действию в эпоху застоя было создано море первоклассных произведений. По сути, можно говорить о возникновении новой культуры — здоровой в самой своей основе, свободной от коммунистических традиций, но — как всякая

альтернатива — странным образом возникшей благодаря им...

Иногда мне кажется, что мы — первое поколение «советских» писателей, состоявшееся именно благодаря нашей несветскости... Подобные несветские присутствуют, конечно, и в среде других поколений, например, «шестидесятников», но их — единицы, и это, увы, исключение... Однако именно они служат нам духовной опорой, они останутся... Лично мне трудно переоценить значение фильмов Тарковского, поэзии Геннадия Айги, прозы Василия Аксенова, Венедикта Ерофеева, Саши Соколова... Но имен такого масштаба и главное — такой степени бескомпромиссности осталось все же немного... Гораздо меньше, чем обещали шестидесятые.

Один из таких бескомпромиссных шестидесятников представлен в ТРМ. Это Лев Тимофеев. Литератор, ректор Московского независимого университета, редактор строго-научного независимого журнала «Референдум». Его пьеса «Москва. Моление о чаше» — произведение реалистическое и очень интимное, лирический памятник «жертвам современного духа», о чем свидетельствует и прилагаемый Протокол следственной группы КГБ г. Москвы от 3 июня 1985 года.

Мы все рождены необычайными обстоятельствами, мы воспитывались этими обстоятельствами, мы все еще зависимы от этих обстоятельств... Каждый ищет выход, идет своим путем. Но выход один — Свобода.

В ДНИ «ЕЖОВЩИНЫ»

ИЗ КНИГИ «БОРИС ПАСТЕРНАК В ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ»

Как мы могли убедиться, происходившее в сфере литературы было неразрывно с событиями политической и общественной жизни страны. «Пушкинский» пленум Союза писателей оказался своего рода «аккомпанементом» к другому пленуму — самому драматическому в истории 30-х годов пленуму Центрального Комитета партии, открывшемуся 25 февраля и обсуждавшему вопрос о Бухарине и Рыкове. 27 февраля оба бывших вождя правой оппозиции были арестованы и прямо с заседания пленума отправлены в Лубянскую тюрьму¹. По свидетельству Р. А. Медведева, как только в Москве стало известно об аресте Бухарина², Пастернак послал его жене, еще оставшейся в кремлевской квартире, письмо, в котором заявлял о том, что у него нет ни малейшего сомнения в невиновности Бухарина³. Достаточно даже самого поверхностного знакомства с тогдашними условиями московской жизни, чтобы убедиться в том, что этот поступок поэта, только что подвергшегося публичному осуждению, граничил с самоубийством. Если в сентябре 1936 года, когда он поздравил Бухарина с «реабилитацией», Пастернак мог верить, что не рискует ничем, то теперь он ясно осознавал, что, выражая симпатию к арестованному и обреченному на гибель партийному деятелю, — жертвует всем.

Между тем чистка в Союзе писателей ширилась и заседания и митинги, единственным пунктом повестки дня которых были разоблачения и покая-

ния, следовали один за другим. 2—5 апреля состоялось общемосковское собрание писателей, на котором Ставский делал доклад об итогах мартовского пленума ЦК, о двурушничестве и о борьбе с замаскировавшимися троцкистами, проникшими в литературу (среди ораторов на митинге газеты называли А. Афиногенова, Гронского, О. Войтинскую, Дм. Петровского, Б. Пильняка⁴, В. Шкловского и др.). В середине апреля был арестован Л. Л. Авербах — после ареста Г. Г. Ягоды, родственником которого он был⁵, и чистка в Союзе писателей оказалась направленной на литераторов, принадлежавших в свое время к его ближайшему окружению и образовывавших верхушку РАППа, — на драматургов Киршона и Афиногенова, в начале 30-х годов слившихся фаворитами Сталина. Именно теперь родилась новая версия о причинах самоубийства Маяковского⁶: в ходе обсуждения преступного прошлого Киршона Асеев в апреле 1937 года впервые выдвинул обвинение против авербаховской клики в травле Маяковского перед его смертью. В апреле был арестован и секретарь Горького П. П. Крючков; одновременно в печати были оглашены — впервые с 1932 г. — обвинения Авербаха в «троцкизме» и в попытке создать второй, «параллельный» центр в литературе — в противовес Союзу писателей, основанному Центральным Комитетом ВКП(б)⁷. «В период писания книги о Беломорско-Балтийском канале Авербах сколачивал беспартийных писателей в своих антипартийных целях, противопоставляя эту группу Союзу писателей», — сообщал

¹ Окончание. Нач. см. «Даугава», № 1.

В. Я. Кирпотин⁹. Так как всем было известно, что душой поездки на канал был Горький и с этой антрепризы началось деятельное руководство им жизнью Союза, — стало ясным, что резистивная линия писательского съезда из антибухаринской вступала в открывающуюся антигорьковскую фазу. Знаменитая статья Д. П. Мирского о фадеевском «Последнем из Удэге» (публично одобренная Горьким) была объявлена Кирпотинским проявлением того же антипартийного заговора:

«Перед самым съездом писателей Болотников, бывший тогда редактором Литературной Газеты, по указке авербаховской группы и Крючкова был по основному ядру писателей-коммунистов. Он напечатал статью Мирского, выбрасывавшего Фадеева из литературы, он систематически травил Панферова и других писателей-коммунистов. Статья Мирского коллективно редактировалась Корабельниковым, Ясенским — этими авербаховскими молодчиками»¹⁰.

Лихорадка «антиавербаховских» разоблачений, охватившая весной Союз писателей, отвлекла внимание от вопроса о Пастернаке, но не сняла его начисто. Сколько-нибудь благосклонные упоминания о Пастернаке после Пушкинского пленума стали вообще невозможны — различия в высказываниях о поэте ныне сводились к степени резкости осуждения и к тесноте связывания его имени с находившимся под арестом Бухариным. В статье о Маяковском один из сотрудников аппарата Правды коснулся в те дни отношений культуры и революции:

«Отдельные поэты, как, например, Б. Пастернак, еще до сих пор не разрешили этой лирической темы. На двадцатом году советской власти Пастернак все еще ставит и пытается решить загадку о том, что есть революция. Происходит это оттого, что червоточина крайнего индивидуализма политически разъедает поэта.

Между тем именно на глубоко субъективную лирику Пастернака, многими нитями связанную с буржуазно-идеалистическим мировоззрением, хотел ориентировать советскую поэзию Бухарин. Идеолог реставрации капитализма в нашей стране, Бухарин вредительно стремился подготовить торжество реставрации и в советской поэзии, толкая нашу поэзию на ложный путь. Объявив Пастернака знаменем совет-

ской поэзии, Бухарин сознательно хотел отвлечь наших поэтов от действительности, от политической поэзии»¹¹.

В речи П. Юдина по поводу пятилетия Союза писателей Пастернак опять, как и в декабре 1936 г., был сближен с Пильняком:

«В последнее время на собраниях писателей много говорили о Пильняке.

Спрашивали, чего не хватает Пильняку? Говорили о том, что его «Мясо»¹² как литературное произведение оказалось уже переваренным, что пишет он плохо, что халтурит и т. д. Но о главном не сказали. Главное, чего не хватает Пильняку, — это быть страстным участником социалистического строительства.

Немалое место в наших обсуждениях занимал также Пастернак. Спрашивали, чего не хватает Пастернаку для того, чтобы быть настоящим большим поэтом, которого бы признавали массы? Не хватает ему страстной заинтересованности, большого волнения за то, что делается в жизни. Пильняк и Пастернак ведут себя как посторонние наблюдатели»¹³.

Упрек в отсутствии необходимой «страстности» может в тогдашних условиях выглядеть мягким, но он определенно не исчерпывал собой административную оценку обоих писателей. В более угрожающем контексте имя Пастернака появилось в стихотворном фельетоне А. Раскина и М. Слободского, где он был на сей раз сопоставлен с «литвождями» Киршоном и Афиногеновым¹⁴: на собрании 27 апреля обоих драматургов обвинили в том, что на совести их — человеческие жизни¹⁵. Именно к этому времени относится дружба Пастернака с Афиногеновым — писателем враждебного ему в 20-е — начале 30-х годов литературного лагеря¹⁶.

В разгар чистки в Союзе писателей со статьей о поэзии выступила О. Войтинская, тогда принадлежавшая к верхам литературной администрации и активно участвовавшая в «разоблачительной» деятельности внутри писательской организации. Статья посвящена раскрытию тлетворной роли доклада Бухарина на съезде. Доклад этот Войтинская назвала «определенным политическим маневром» и содержавшуюся в нем «Проповедь гражданского мира» поставила в причинную связь с происшедшим спустя несколько

месяцев после съезда убийством Кирова («которое было организовано при участии правых»). В сфере внутрилитературной наиболее созвучным вредным бухаринским теориям оказался (по О. Войтинской) Пастернак, и поэтому статья ставила перед собой задачу нанесения удара по самой сердцевине пастернаковской общественной позиции — по идее о «строптивости» художника:

«Бухарин выступил как реставратор реакционной теории о мнимой независимости художника от общества. Именно поэтому он выступил за Пастернака против Маяковского. Пастернак еще принадлежит к той группе поэтов, которая считает, что творчество является частной жизнью ¹⁷ художника».

«Равнодушие» ¹⁸ и даже «враждебность» ¹⁹ пастернаковской поэзии статья прямо возводила к этой порочной основе. В качестве доказательства тезиса о реакционности поэта Войтинская взяла уже приводившуюся Правдой цитату о «сожженной родине» (из стихотворения «Определение души») и стихотворение «Нас мало, нас, может быть, трое». Далее она обрушилась на критиков — адептов пастернаковского творчества, наряду с Тарасенковым с особенным возмущением упомянув статью Друзина, напечатанную в Звезде в канун Минского пленума ²⁰.

Статья Войтинской была адресована, как в свое время и статья Яр. Семенова, к системе партийной пропаганды и призвана была растолковать этой аудитории смысл происшедшего поворота. Совершенно иную функцию имела большая статья Н. Изгоева, появившаяся в майской книжке журнала Октябрь. Она представляет собою примечательную попытку «диалога» с поэтом, и очевидны симптомы прямой ее санкционированности высшими литературно-политическими инстанциями. В этом смысле она является поворотной вехой во всей системе отношений Пастернака и властей в тридцатые годы. Это была последняя статья о Пастернаке перед наступлением полного молчания о нем критики. В отличие от казенных поношений, которыми была отмечена только что прошедшая кампания, она написана на несомненно профессиональном уровне и воздерживается от дешевой политической демагогии. Ставя перед собой

ту же цель, что и вся кампания, — обоснование необходимости ниспровержения Пастернака с незаслуженно занятого им пьедестала, — статья сохраняет демонстративно спокойный и «объективный» тон, резко выделяющийся на фоне кликушества предшествовавших недель, истерии, заставлявшей за общественным ostrакизмом поэта предполагать неотвратимую физическую расправу. Более того, статья Изгоева, отвергая и высмеивая данную Бухариным оценку поэта, подчеркивала, однако (в отличие от, например, Войтинской), границу между ними:

«Конечно, Пастернак не может отвечать за то, что о нем думает Бухарин, как и за то, что мечтал увидеть в нем Андре Жид ²¹. Поэт далеко не всегда таков, каким его видит исследователь и критик, особенно изолгавшийся, лицемерный ²², коварный враг, как Бухарин. Тяготение Бухарина к Пастернаку не означает тяготения Пастернака к Бухарину, идейной близости, связи. Нет, Пастернак не имеет родни ²³. Он один, хотя не по-лермонтовски, как ему самому кажется. Его одиночество печально и тягостно. Он стоит на юру нашей литературы ²⁴.

Этот пассаж снимал с Пастернака какую бы то ни было ответственность за бухаринский доклад и клал конец темным намекам на преступную связь поэта с заточенным в тюрьму «правым» лидером. Последнее замечание в приведенном пассаже — «он стоит на юру» — прямо перекликалось с неоднократно самим Пастернаком провозглашенной концепцией места поэта в обществе и как бы подтверждало органический (и не обязательно злостный, намеренно-«враждебный» по своим политическим качествам ²⁵) характер этой позиции. Изгоевская статья «признавала» Пастернака «поэтом» — вне всякой уничижительной семантики, закрепленной пронесшейся кампанией: за ним впервые за долгие месяцы утверждался этот «чудесный дар природы» (152). Однако эта «природная» принадлежность Пастернака к миру поэзии изображалась автором статьи со «сдвигом»: солидаризируясь с только что пущенным на Пушкинском пленуме определением Пастернака как «юродивого» (Джек Алтаузен), Изгоев возводил его, как к источнику, к самим поэтическим высказываниям Пастернака в Сестре моей жизни ²⁶. При этом критик возвращался к традицион-

ным (со времен РАППа) обвинениям поэта в солипсизме, оторванности от действительности, «субъективным идеализме». И все же такая концентрация разговора на порочности философских истоков пастернаковской поэзии позволяла обойти тот, особо опасный аспект, который был выдвинут в последние месяцы: криминально «антинародная» направленность и политическая враждебность пастернаковских деклараций. Кроме того, Изгоев заявлял, что и это «реакционное мировоззрение» разрушается у Пастернака «под влиянием нашего времени», и в заслугу поэту ставил то, что он не пошел «за белогвардейцами, за Гумилевым, за Мережковским, за Ходасевичем, ибо был чужд им» (254). По Изгоеву, поэт находится в «пассивно- созерцательном состоянии»²⁷, в котором он безвольно и бессильно отдает себя под опеку социализма» (256).

Любопытен пассаж, сопоставляющий позицию Пастернака с недавно провозглашенной конституцией, — своеобразный отклик на прошлогоднюю заметку Пастернака в Известиях:

«Он и сегодня всерьез не знает: социализм — даль или близь (...)»²⁸. Он не ощущает социализма так, как его ощущают миллионы. Что для него право на труд, на образование, на отдых, на равенство наций — для него никогда не вставали эти проблемы как кровные, как проблемы жизни, существования, никогда он не думал над ними в своих «философствованиях». Для него нет еще общей радости в торжестве миллионов, для которых каждая глава Сталинской конституции — победа, каждый новый завод, самолет, дом — материализованное проявление рабочего класса» (256—257).

Он переходит в обсуждение отношения поэта к «гражданским» стихам. Вопрос этот стал в данный момент центральным и с самого начала зимы (вплоть до 1938 года) оставался главной темой всех «дискуссий» о советской поэзии. Но статья Изгоева — в полном противоречии со всем духом антибухаринской кампании — не настаивает на обязательности политической лирики или ее «превосходстве» над камерной. Нет в ней и напрашивавшегося, безусловно подразумевавшегося во всяком разговоре о Пастернаке сопоставления с Маяковским, «луч-

шим, талантливейшим поэтом советской эпохи»²⁹. Изгоев ограничивается констатацией отсутствия у Пастернака «гражданской» тематики и намеком на то, что это не столько «вина», преступление, сколько «беда», несчастье поэта, «болезнь» его, влекущая за собой его «творческую смерть».

«Пастернак недавно заявил с трибуны Пушкинского пленума Союза советских писателей:

— Самое главное быть равным самому себе»³⁰.

Некоторые поняли это, как обычный буддистский тезис Пастернака, как программу равнения на собственный пуп. Пастернак декларировал этим заявлением, что он не может взять на себя непосильной ноши, что он не завидует чести быть поэтом нашей эпохи.

Он был искренен и неискренен: может быть, он сознает действительно, что эпоха выше его, как Гималаи выше берегов пресловутой Ирпени, он искренен, созная свое бессилие. Но он неискренен в том, что лишен зависти и чести поэта³¹. Все, что писал Пастернак до сих пор, было стремлением утвердить себя поэтом независимым от эпохи, от революции. В этом и выражалась его пресловутая борьба за свою так называемую творческую индивидуальность, оригинальность, самостоятельность. Он продолжает эту борьбу, маскируясь скромностью³². Но тогда выступает на первый план его очевидная, нарастающая с годами болезнь — анемия, любовь к анемонам — цветам мертвых, бессилие»³³ (257).

При этом Изгоев утверждал, что в творческом увядании виноват только сам поэт — но никак не «революционная воля», ибо «Пастернак талантлив, а наша эпоха умеет ценить, беречь и холить человека», как гласила концовка статьи, косвенно воскрешая старые (1935 г.) лозунги Сталина. Эта «охранная» формула недвусмысленно отгораживала Пастернака от «смерча», как раз в те дни достигавшего своего апогея; именно в этой формуле, надо думать, и состояло действительное назначение статьи. Авторитетность и категоричность содержащихся в ней заявлений — притом по такой крайне рискованной теме, какую в тот момент представлял собой Пастернак, — значительно превосходит те полномочия, коими был бы облечен рядовой

журналист этого калибра³⁴. Сам Н. Изгоев никогда до того о Пастернаке не писал и сейчас, после снятия Бухарина с поста редактора, начинал карьеру литературного критика Известий (вскоре оборвавшуюся). Неучастие его в старых литературных битвах могло послужить причиной выбора его для данной миссии. Он мог быть облюбован в качестве автора статьи отчасти и в силу «внутренней формы» фамилии, красноречиво перекликавшейся со «статусом» Пастернака. Столь же «говорящим» был факт публикации статьи именно в Октябре — журнале, до того времени находившемся на враждебном Пастернаку фланге, — а не в органах, известных прежде тесными связями с поэтом (как Новый Мир, Красная Новь или Знамя).

Бросавшаяся в глаза дистанция между «либеральным» тоном изгоевской статьи и общим «долбящим» характером языка прессы того периода заставляет допустить, что за этим неожиданным выступлением Октября стояла некая высокая инстанция. В этой связи обращает на себя внимание фраза:

«Когда он говорит о житейских вещах, из уст изысканного, утонченного, рафинированного небожителя высказывают довольно прозаические слова беспомощного обывателя, то плачущего, то брюзжащего (. . .)» (253).

Термин «небожитель» незадолго перед тем употребил Фадеев в своей речи 28 февраля, критикуя на Пушкинском пленуме Жарова и Алтаузена и требуя борьбы за (отсутствующий у них) «вкус» и «мастерство»:

«Значит ли это, что нужно создать какое-то царство «небожителей»? Нет, страна наша не такая. У нас уже завтра вывяжутся более талантливые люди, чем мы, и окажется, что гипс и мрамор им более послушны»³⁵.

Очевидно, к тому же периоду приурочено свидетельство, касавшееся судьбы Пастернака:

«Распространялись слухи (об одном из них Б. Л. рассказал той же Люсе Поповой), будто при докладе документов, обосновывающих арест Б. Л., Сталин сказал: «Не трогайте этого небожителя . . .»³⁶.

В этом контексте заслуживает внимания то место в статье, где речь идет о перспективах творческой работы поэта. С тезисом об «увядании» его поэтических потенций Изгоев связывает апологию грузинских переводов; им

отдается предпочтение перед всем остальным творчеством Пастернака: книга грузинских переложений «показала его сильнее, острее и злее, чем все, что было высказано им в туманных, невнятных, скачущих, прыгающих своих стихах» (255—256). Это заявление оказывалось совершенно неожиданным — в ходе «антибухаринской» кампании грузинские переводы, как и все, что могло быть поставлено в заслугу опальному поэту, были преданы забвению, и даже мягкая на общем суровом фоне критическая статья В. Александрова, написанная до Пушкинского пленума и сдержанно-резвым своим тоном выдававшая сочувствие автора и журнала к Пастернаку, — не обмолвилась и словом о его грузинских контактах³⁷. Если грузинские переводы и упоминались, то непременно в отрицательном контексте. В рецензии, помещенной в Новом Мире, Г. Ломидзе, восторженно характеризует творчество Тициана Табидзе, порицает из русских переводов только пастернаковские, притом предъявленное им обвинение: «принцип прямого, отчетливого построения образов заменен туманными и неопределенными намеками», — прямо согласуется с инкриминируемыми в те дни бухаринскому докладу — идеями, а пастернаковскому творчеству — поэтическими чертами³⁸.

Тем существеннее выглядит оценка, которую переводам дает Н. Изгоев:

«Конечно, в этих переводах застряло немало пастернаковских приемов, он внес в грузинские переводы свою лексику, свой вольный синтаксис, свои надуманные, подобранные в распадае логических связей мысли ассоциации. Но при всем этом его переводы наиболее полно передают творческую индивидуальность грузинских поэтов и дух грузинской поэзии, проникающий с равной силой и в эпическое богатство Важа Пшавела и в насыщающую социалистическим содержанием лирику Паоло Яшвили, Георгия Леонидзе, Тициана Табидзе.

Переводы выдали Пастернака с головой. Оказалось, что других поэтов, чьи строфы обладают силой эмоций, глубиной чувств, яркостью мысли и темперамента³⁹, Пастернак умеет пересказать. Грузинские поэты оказались на голову выше, внутренне богаче и содержательней Пастернака⁴⁰, поэтически звучащими сильнее не только

поэта маленьких камерных чувств Пастернака, но и очень многих наших поэтов.

Грузинские поэты показали, что Пастернак — их неравный собрат по символизму и декадентству, — остался эпигоном, остался жить в 1916 году, в то время как поэтическая мысль породила блестящую плеяду новых поэтов.

Переводы грузинской лирики показали, что Пастернак умеет чувствовать силу других поэтов, может ее передавать на родном языке, но сам создать великие творения, высокие, как высока эпоха, не может» (256).

В обсуждении вопроса о Пастернаке в советской печати начиная с середины 30-х годов можно выделить три стадии: 1934—1936 — периоды споров, столкновения разноречивых оценок; с лета 1936-го по лето 1937 г. (до статьи Изгоева) — затухание «дискуссии» о Пастернаке и доминирование резко негативных характеристик; наконец, после статьи Изгоева имя Пастернака практически исчезает со страниц газет и журналов. Нет сомнений, что эти сдвиги были обусловлены директивами сверху (хотя и было бы ошибкой каждый отзыв о Пастернаке считать продиктованным той или иной инструкцией начальства). Статья Изгоева — и в особенности только что процитированный кусок — замечательна тем, что обосновывала вердикт: Пастернаку было оставлено только ампула переводчика, и притом — национальной, украинной советской поэзии⁴¹. Напомним, что в январе 1936 года — когда появились стихи Пастернака в *Известиях* — поэт продекларировал отказ от переводческой деятельности и на пленуме в Минске говорил о совершенно иных планах. Приговор Изгоева навязывал теперь круг занятий, который Пастернак считал окончательно брошенным. Категоричность этого была тем внушительнее, что у статьи была и другая — «спасительная» — функция, «защищавшая» поэта от многомесячной травли.

Вопрос о том, почему травля эта не привела к аресту и физическому уничтожению Пастернака в период «ежовщины» (и позднее), — на нынешней стадии изучения советской истории не может получить сколько-нибудь удовлетворительного научного решения. Высказанные до сих пор предположения («мистическое» преклонение Сталина перед поэтом-«небо-

жителем», заступничество Фадеева) лежат в сфере гаданий и критической проверке не поддаются. С достаточной документальной точностью могут быть установлены только зигзаги взаимоотношения официальных кругов и поэта — как эти отношения проявлялись во «внешнем» поведении и высказываниях его и как они отражались на отзывах о нем в прессе. Неожиданный акт «милосердия», выразившийся статьей Изгоева, должен рассматриваться именно в этом контексте, и только в нем. Никаких выводов, в исторической перспективе, о роли изгоевской статьи в сохранении свободы поэту — делать, конечно, нельзя. Что же касается вопроса об аресте, то, во-первых, на протяжении всего дальнейшего сталинского периода Пастернак считал «чистой случайностью» то, что остается на свободе⁴². Во-вторых, по известному свидетельству А. К. Гладкова, Пастернаку приписывалось позднее участие в диверсионной организации — в деле, по которому были осуждены Мейерхольд и Бабель⁴³. И, наконец, где-то осенью 1937 года получил распространение слух об аресте и заключении Пастернака. В вышедшей в июне 1938 года книге английский поэт Герберт Рид писал:

«The recent fall of Radek and Bukharin has not brought to the end the persecution of poets and artists. At the present moment, Pasternak, since Mayakovsky's death the most important poet in Russia is languishes in prison, and Shostakovich, one of the few modern composers with European reputation⁴⁴, is in disgrace»*.

Ясно, что никакого «иммунитета» у поэта по отношению к эпидемии арестов и страху, охватившему страну, не было и быть не могло. В силу этого вес тех проявлений нравственной независимости и отказа от «стадных» норм поведения, которые обнаружились у Пастернака в разгар «ежовщины», несподручим с предшествовавшими моментами, когда

* Недавнее падение Радека и Бухарина не привело к прекращению преследований поэтов и людей искусства. В настоящий момент Пастернак, после смерти Маяковского наиболее выдающийся поэт России, чахнет в тюрьме, а Шостакович, один из немногих композиторов с европейским именем, находится в опале (англ.) — Ред.

арест непосредственной угрозой для него не является.

Это позволяет в новом свете истолковать хорошо известный эпизод с отказом Пастернака от подписи под требованием смертной казни советским военачальникам. Впервые, если не ошибаемся, этот рассказ о нем получил широкую огласку в дни Нобелевского скандала 1958 г., когда в европейской прессе было опубликовано интервью Н. О. Нильссона с поэтом⁴⁵, но Пастернак рассказывал о нем своим собеседникам и ранее (по свидетельству И. Берлина, уже в 1945 году⁴⁶). Встает вопрос, почему столь настойчиво возвращался Пастернак к этому, сравнительно мелкому эпизоду⁴⁷. Вопрос этот естественен на фоне возмущившего Цветаеву появления подписи Пастернака под петицией правления Союза писателей в августе 1936 года и странного акта внешнего «полуприсоединения» к резолюции 25 января 1937 года — ведь трудно предположить, что бы судьба полководцев гражданской войны, скажем Р. П. Эйдемана (многократно нападавшего на Пастернака в 30-е годы), трогала поэта настолько сильнее, чем угроза смертной казни для Сокольников и Радека⁴⁸, что именно это и вынудило его изменить линию поведения и пойти на открытый разрыв с властями. Ясно, что причина этого — не в личных симпатиях Пастернака к тем или иным жертвам террора, а в сдвигах в политической ситуации в целом.

Во-первых, следует учесть, что документ, о котором здесь идет речь, функционально отличался от выступлений руководящих инстанций Союза писателей в августе и январе. Если тогда петиции составлялись по поводу публичных процессов над действительными в прошлом противниками Сталина, то теперь предложенный Пастернаку писательский документ призван был санкционировать приговор, вынесенный закрытым, молниеносным судом⁴⁹ ведущим советским полководцем с «аполитичным» прошлым, внезапно уличенным в «шпионаже». В недели, предшествовавшие этому, Союз писателей охватила невиданная по масштабам волна показательных «чисток». Инквизиторские митинги с публичным шельмованием влекли за собой арест жертв их (Л. Авербах, И. Катаев, Б. Ясенский, Д. Мирский) или создавали вокруг них невыносимый вакуум,

исключавший какие бы то ни было надежды на спасение или оправдание (Афиногенов). Разворачивавшийся весной 1937 года террор, направленный против литературы, с той же беспощадностью захватили и близкие поэту круги (участники «Перевала»⁵⁰), и — в еще большей степени — его всегдашних антиподов и оппонентов из «ортодоксально»-рапповской среды. Так, в контексте «выкорчевывания» из литературной жизни «авербаховщины», в мае 1937 г. началось преследование еще недавно казавшегося неуязвимым для каких бы то ни было упреков политического характера «Саши» (как он фигурировал в докладе Бухарина на писательском съезде) Безыменского: он был обвинен в троцкизме⁵¹, и как раз в дни суда и расстрела Тухачевского «дело» его (и других бывших членов «Литфронта») рассматривалось на собраниях Союза писателей⁵². Не было более убедительного, чем это, доказательства, что безусловная «советская» лояльность не защищает от остракизма и не является гарантией личной безопасности.

Та же волна в начале июня задела и Паоло Яшвили, с зимы 1935/36 г. удостоенного высших почестей. Под его руководством бригада грузинских поэтов составила тогда стихотворный текст «письма трудящихся Грузии» к Сталину (в связи с 15-летним юбилеем советской власти в Грузии), под которым подписалось с полтора миллиона человек⁵³. В марте 1936 г. Яшвили вошел в состав грузинской делегации (ее возглавлял Л. П. Берия), принятый Сталиным и Молотовым в Кремле, прочел здесь свои стихотворные славословия «творцу счастливой жизни» и объявил о своем обязательстве «написать поэму о героической юности и дальнейшем развитии нашего вождя»⁵⁴. 22 марта он был награжден орденом Трудового Красного Знамени⁵⁵ и вошел в — тогда совсем малочисленную — группу «поэтов-орденоносцев», имевшую особый статус в литературной иерархии. Это происходило в разгар кампании против формализма, в дни «бунта» Пастернака, — и отзвуком возникших разногласий старых друзей являлась фраза в тогдашнем (от 8 апреля 1936 г.) письме Пастернака к Т. Табидзе:

«Весь этот месяц чувствовал себя превосходно (...). Страшно рад был Паоло⁵⁶. Но он ужасный ребенок, и с

ним очень трудно. В тот миг, как он не сет совершеннейшую ересь и надо его оспаривать, он вдруг становится две капли воды Медея⁵⁷ (страшное сходство!), и руки опускаются от умиления»⁵⁸.

На этом фоне возникли строфы о Яшвили в цикле «Из летних записок», в которых воспоминаниями о тифлисских встречах Пастернак старался сгладить трещину в отношениях со старым другом:

За прошлого порог
Не вносят произвола.
Давайте с первых строк
Обнимемся, Паоло!
Ни разу властью схем
Я близких не обидел,
В те дни вы были всем,
Что я любил и видел⁵⁹.

По поводу этого цикла Пастернак писал Тициану и Н. А. Табидзе 1 октября 1936 г.:

«Да, но как можно было дать такой трехстопник, такое птичье, пустоватое ти-ти-ти о Грузии? Какою мерзостью было так мало сказать о Паоло! Дружите ли Вы с ним вновь по-старому? Ах, как бы я этого хотел! По отсылке этого рифмованного позора я целыми вечерами думал о нем. Я вспоминал его широту, благородство его проявлений по отношению ко мне в ответственной для души моей минуты. Какая безукоризненная пронизательность большого человека с большим сердцем и кругозором! Простит ли он мне легкость этих строк о себе (в них нет ничего дурного, но так ли надо о нем говорить?), простит ли мои пересуды этого года? Ах, с каких мелких позиций судил я его! Я не в «позициях» раскаиваюсь⁶⁰; более общепринятые ничуть не крупнее. Но как я смел его мерить такими ничего не говорящими мелочами⁶¹. Я не изменился, я знаю: революция не в «Литературке», не в литорганизациях, не в соревновании в робости⁶², а в крайних своих очертаньях и в центральных лицах. Она пока только в самом большом. Оттого-то и трудно: она станет жизнью, когда будет и в самом малом⁶³. И, конечно, — будет.

Я не изменился, говорю, но вдруг вспомнил по-настоящему Паоло, и не могу понять, что со мною было зимой и кто мне дал право искать в нем перемены и их ему без основания приписывать. Меня тогда ослепила эта чертова

дискуссия. В этом культурно-просветительном дурмане я вдруг забыл, что люблю его»⁶⁴.

Письмо это, свидетельствовавшее о попытке восстановить отношения с Яшвили, не достигло поставленной цели, и конфликт ликвидирован не был. Зимой 1937 года оба друга вновь очутились по разные стороны «баррикады»: на Пушкинском пленуме Пастернак стал атакуемой мишенью, тогда как «поэт-орденоносец» (не упомянув его в своей речи) выступил не только против декадентства и «чистой поэзии», но и против «агентов фашизма» — грузинских писателей, арестованных по обвинению в подготовке покушения на Сталина и Берия⁶⁵. В канун суда над Тухачевским Литературная Газета опубликовала речь Л. П. Берия, из которой явствовало, что тиски террора сейчас сжимаются и вокруг Яшвили. Здесь автору оды о Сталине, в 1934 г. переведенной Пастернаком и с тех пор ставшей украшением всех посвященных Сталину антологий советской поэзии, было брошено обвинение в двурушничестве и попытке «обмануть советский народ» под прикрытием «высокого звания советского писателя и художника» — и предложено «перестроиться» и сурово осудить «свои прошлые дела и связи»⁶⁶.

Не подлежит сомнению, что эти процессы в литературной среде, драматически выразившиеся на примере, в частности, Безыменского и Яшвили, служили тем контекстом, в котором Пастернак принял «бунтарское» решение отказаться от присоединения к писательской резолюции. В отличие от В. Шкловского, понимавшего (по словам Н. Я. Мандельштам) все, но надевшегося, что аресты ограничатся «их собственными счетами»⁶⁷, поведение Пастернака свидетельствует, что в таком расчете он никакого утешения не находил. Следует принять во внимание тот факт, что теперь суд предстоял и Н. И. Бухарину, — о невиновности которого и своей вере в это поэт заявил письмом, отправленным вскоре после Пушкинского пленума. В октябре 1936 года Пастернак считал, что «революция» сохранится только в «центральных лицах». Ясно, что на протяжении 30-х годов Бухарин в его глазах был именно таким лицом (как, несомненно, был, с другой стороны, и Сталин⁶⁸) и его арест изменял всю исто-

рическую оценку происходившего. По сравнению с августом 1936 года поэт не стал более «гуманным» — просто события обнажили всю беспочвенность надежд и на «центральные лица», и на торжество революции в «малом».

В наиболее пространном виде рассказ Пастернака 50-х годов об этом эпизоде его биографии приведен в книге О. В. Ивинской. Он содержит детали, существенно дополняющие интервью, данное Н. О. Нильссону:

«В 1937 году, когда был процесс по делу Якира, Тухачевского и других, среди писателей собирали подписи под письмом, одобряющим смертный приговор. Пришли и ко мне. Я отказался подписать. Это вызвало страшный переполох. Тогда председателем Союза писателей был некий Ставский, большой мерзавец⁶⁸. Он испугался, что его обвинят в том, что он недосмотрел, что Союз — гнездо оппортунизма и что расплавиться придется ему. Меня начали уламывать, я стоял на своем. Тогда руководство Союза приехало в Переделкино, но не ко мне, а на другую дачу и меня туда вызвали. Ставский начал на меня кричать и пустил в ход угрозы. Я ему ответил, что если он не может разговаривать со мной спокойно, то я не обязан его слушать, и ушел домой.

Дома меня ждала тяжелая сцена. З. Н. была в то время беременна Лейней, на сносях, она валилась у меня в ногах, умоляя не губить ее и ребенка⁷⁰. Но меня нельзя было уговорить⁷¹. Как потом оказалось, под окнами в кустах сидел агент и весь разговор этот слышал...

В ту ночь мы ожидали ареста. Но, представьте, я лег спать и сразу заснул блаженным сном. Давно я не спал так крепко и безмятежно⁷². Это со мной всегда бывает, когда сделан бесповоротный шаг. Друзья и близкие уговаривали меня написать Сталину. Как будто у нас с ним переписка, и мы по праздникам открытками обмениваемся. Все-таки я послал письмо. Я писал, что вырос в семье, где очень сильны были толстовские убеждения⁷³, всосал их с молоком матери, что он может располагать моей жизнью, но себя я считаю не вправе быть судьей в жизни и смерти⁷⁴ других людей. Я до сих пор не понимаю, почему меня тогда не арестовали!...»⁷⁵

Самое важное в этом рассказе —

прикрепленность описываемых событий к возможности (более того — ожиданию) ареста, придающая характер вызывающей, граничившей с отчаянием, демонстрации личной независимости⁷⁶ обилием поступкам поэта: и отказу от подписи, — и письму (первому — после благодарности за «воскрешение» Маяковского) к Сталину, то есть шагу, еще более рискованному, чем уклонение поэта от возложенного на него литературными властями поручения. В оценке поведения поэта в этот момент и в этой ситуации сходятся все биографы и мемуаристы: именно здесь бесстрашие Пастернака⁷⁷ и готовность к самопожертвованию, вопреки всем критериям здравого смысла, проявились с наибольшей отчетливостью.

Но, помимо «героического»⁷⁸, описываемая история имела и иной, не менее драматический аспект. Приводим свидетельство Ю. Кроткова:

«В 1937 году Тухачевский, Якир, Эйдеман и другие были приговорены к расстрелу. Маститые из ССП немедленно написали свое «гневное одобрение», в полном соответствии с многочисленными «откликами», печатавшимися в те дни в газетах. «Одобрение» нужно было и в подписи Пастернака. Когда к нему приехали в Переделкино с этим «документом», он вскипел и сказал: «Жизнью людей распоряжается государство, а не частные лица. Я ничего о них не знаю. Как я могу желать их смерти? Я им жизнь не давал, я им не судья. Я предпочитаю погибнуть в общей массе, с народом. Это, в конце концов, не контрамарки в театр подписывать»⁷⁹.

Больше того, Пастернак, отказавшись подписать, немедленно поехал в Москву в ССП к Ставскому, который тогда был одним из руководителей ССП. Вернулся он, по свидетельству Зинаиды Николаевны, успокоенный. Но то, что случилось на следующий день, было самым страшным. Кто-то принес Борису Леонидовичу Правду⁸⁰ или Литературную Газету, где было напечатано «одобрение». Среди подписей была и подпись Пастернака. Он рыдал от отчаяния. «Они меня убили...» И тотчас же снова поехал в Москву к Ставскому, который, оправдываясь, заявил, что произошла редакционная ошибка. Пастернак сказал, что «они» его «убили», а они его тогда несомненно спасли: если бы его подпись не

появилась под этим «одобрением», следовало бы ожидать в ближайшем будущем ареста Пастернака. В этот же период был арестован Пильняк⁵¹.

Это показание раскрывает всю глубину потрясения, в те дни пережитого поэтом. Ни травля «лучших» (по словам Пастернака) писателей в ходе борьбы с «формализмом», ни унижительный обряд «обсуждения» творчества Пильняка осенью 1936 г., ни тупая, «подлая механичность», с которой его противники клеймили строки о долоте, ни идеологический аккомпанемент к публичным судебным процессам над бывшими оппозиционерами, ни нападки на Пушкинском пленуме, ни вердикт И. Изгоева, — ничто не могло продемонстрировать ему с такой неопровержимостью искоренение последних остатков честности и независимости из «общественных норм» и свое собственное бессилие и несвободу, — как этот, казалось бы, мелкий эпизод. Как в феврале 1936 года не могла выйти из писательского Союза М. Шагинян, так теперь, в июне 1937 года, поэт не мог «выйти» из списка голосующих за смертную казнь.

Естественно встает вопрос, по каким причинам администраторы Союза писателей сочли необходимым включить имени поэта в список. Отсутствие Пастернака среди требовавших смертной казни могло пройти незамеченным, так как в обоих случаях публикации писательского письма — в Известиях 12 июня и в Литературной Газете 15 июня — список имен приводился не полностью и завершался многообещающим указанием «и др.»⁵². Как позднее подчеркивал сам Пастернак, появление того или иного имени под призывом о расправе с «врагами народа» считалось знаком официального доверия и милости⁵³. Из видных литераторов с «подмоченной» в это время общественной репутацией — в списке (открывавшемся В. Ставским) кроме Пастернака были лишь осужденные вместе с ним на Пушкинском пленуме Сельвинский и начинавший в те дни свое «хождение по мукам» А. Безыменский⁵⁴; там не было ни Афиногенова, ни Киришона, ни Веры Инбер, только что упомянутой в опасном контексте в Правде. Иначе говоря, по отношению к Пастернаку это было продолжением той линии «великодушная» и «милосердная», проявление которой мы видели в статье

Н. Д. Изгосева. Но именно этим и был вызван бурный протест поэта⁵⁵; он был направлен не только против «казни» как таковой, но и против попытки «принуждения» поэта⁵⁶. «Спасительный» неарест более чем что-либо другое показал в тот момент Пастернаку подлинный размер несвободы поэта, циничного попрания его права на индивидуальную, альтернативную позицию, отсутствие какой бы то ни было возможности выразить себя в печати.

Отзвуком этой истории является оставшаяся неопубликованной пастернаковская заметка тех дней. Она написана в связи с беспосадочным перелетом Москва — Северный полюс — США, совершенным 18—20 июня В. П. Чкаловым, Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым — летчиками-героями, бывшими тогда предметом гордости Советской страны⁵⁷. Приводим ее по автографу, по всей видимости посланному в Литературную Газету — в ответ на ее запрос:

«Перелет тов. Чкалова огромный, серьезный, сопряженный со страшным риском, подвиг. Мне кажется принижением и профанацией таких высоких дел собирание откликов на них (от) людей непризнанных и непосвященных. Восторг мой по этому поводу ничем не возвышается над радостью самых рядовых и обыкновенных людей, и правда, как этому не радоваться? Но радости этой невелика цена, печатать же надо одно ценное. Утрата этой истины губит нашу печать»⁵⁸.

Смысл этой записки — отклонение «строптивым» художником новой попытки его приручить. Протянутая рука, выражение доверия, примирительный жест — им отвергнуты. Восхищение подвигом летчиков, «сопряженным со страшным риском», — поэт разделяет со всеми, но отказывается украсить (неделю тому назад оскорбившую его достоинство) газету подтверждением своего совпадения с «обществом». Горьким сарказмом продиктованы слова о «непризнанных и непосвященных» — ведь в ходе нападок на Пастернака на дискуссии о формализме и на Пушкинском пленуме издательскому осмеянию подверглась «профетическая» концепция поэта у Пастернака. Уравнивание его «восторга» с «радостью самых рядовых и обыкновенных людей» вторит (приведенной Кротковым) фразе: «Я предпочитаю погибнуть в общей массе, с народом».

На этом же фоне должны быть восприняты и слова: «радости этой велика цена», — отсылающие к той подавленности в обществе и страху, которые породил ширившийся террор и которые должно было закамуфлировать эффектное достижение летчиков-героев. Замечание «печатать же надо одно ценное» представляло собою выпад по адресу окончательного выкристаллизовавшейся в этих условиях «гомофонности» советской прессы. Последняя фраза в заметке, обнажавшая общую оппозиционную подоплеку уже одним только предикатом «губит» (совершенно неуместным по отношению к данному праздничному поводу), — возвращалась к выводу о призрачности советской печати, к которому Пастернак пришел во время кампании против «формализма», но окончательный смысл которого ему самому со всей очевидностью открылся в истории с казнью Тухачевского.

«Чкаловская» заметка представляла собой, таким образом, прямой ответ поэта на эту историю, и понятно, почему в последующие недели и месяцы имя его начисто исчезло со страниц советской прессы⁸⁹. Последовательный абсентизм⁹⁰ — еще недавно выдвигавшегося на вакансию «первого» — поэт указывал на его отношение к разворачивавшейся перед глазами трагедии страны. Установившееся замораживание отношений с властями продержалось с тех пор (с незначительными отступлениями) в течение двадцати лет — вплоть до Нобелевского скандала — и не было поколеблено ни первыми публикациями⁹¹ романа о предреволюционной России (над которым Пастернак начал работу в начале 30-х годов), ни благожелательной реакцией на его переводы европейских классиков, ни спорадическим возвращением к стихописанию в периоды относительной либерализации и ослабления интеллектуального давления.

Странным нарушением этого молчания явилось выступление Пастернака с некрологической заметкой о Сулеймане Стальском⁹². Шаг этот выглядит необъяснимым, так как дагестанский ашуг-орденоносец, с 1934 года официальный кумир властей, объявленный образцом «политической» поэзии и примером для русских поэтов, ни в каких личных контактах с Пастернаком не находился и его произведения вряд

ли были знакомы Пастернаку. Трудно представить себе больший контраст, в глазах современников, чем тот, который образовывали обвиненный в эстетстве и отрыве от советской действительности Пастернак — и неграмотный горский поэт, внезапно вознесенный на вершину советской литературной иерархии⁹³. Вне конкретного историко-культурного контекста статья Пастернака производит поэтому впечатлительное искусственной отписки, натянутости и фальши. Между тем внимательное рассмотрение заставляет прийти к выводу о глубокой интимной подоплеке ее киносказаний⁹⁴.

Здесь бросается в глаза, что Пастернак начинает статью с воспоминаний о писательском съезде. Событие это после смерти Горького или не упоминалось в официальных выступлениях прессы, или упоминалось исключительно в плане разоблачения «вылазок» Бухарина и Радека на нем. Ностальгический оттенок, который имели эти первые абзацы пастернаковской некрологической заметки, решительно расходился, таким образом, с укоренившейся к этому времени новой концепцией. Самая форма писательского съезда выглядела в это время безнадежным анахронизмом, и Пастернак совершал глубокую бестактность неуместно апологетическим зачином: по уставу Союза писателей очередной съезд должен был быть созван именно в те месяцы, в 1937 году⁹⁴. Совершенным вызовом, «пощечиной общественному вкусу», с точки зрения момента, оказывались сообщаемые Пастернаком черты тогдашней вольной, возбужденной атмосферы:

«И вот чуть-чуть очумелые, мы, как в лихорадке, носились из президиума в почтовое бюро и помещение для машинисток, к мандатному столу или фойе, куда нас вызывали записками. Озаренные люстрами, в проплетшем до нитки летнем платье мы садились, вставали, совещались, звонили в звонок и призывали к порядку»

Для читателя, вынужденного забыть писательский съезд, причастность Пастернака («мы») к такой официальной суете («призывали к порядку») представлялась неправдоподобной: достаточно было сопоставить ее с нынешним статусом «юродивого» поэта, чтобы вставал вопрос, чем вызвана такая странная несоизмеримость положений. Для читателя же, не предавше-

го забвению тогдашние события, должно было быть окончательно ясным, что сообщаемые Пастернаком детали никакого основания для ностальгии не давали: подобное мельтешение «из президиума» могло быть объяснено только вредительской деятельностью ныне ожидавшего в тюрьме неминуемого возмездия врага народа Н. И. Бухарина.

Но и самый портрет «народного поэта», рисуемый в заметке, нес печать коренных убеждений Пастернака: как и «строптивый артист» в известнических стихах 1936 г., Сулейман Стальский изображается «прячущимся от взоров». В характеристике его — «недвижно скромный и учтиво горделивый» перефразируется платформа минской речи «О скромности и смелости». Его отношение с «залом» изображено в духе той полемики, которую тогда вел Пастернак с Безыменским по поводу поездок по стране. Утверждая, что «самая жизнь народного барда есть памятник письменности, потому что автор сам становится книгой, книгой для записей последующих поколений», — Пастернак возвращался к сформулированному в «Охранной грамоте» тезису о «неизобразительности» жизни поэта и к характеристике (там же) Библии как «записной тетради человечества». Вместе с тем здесь был отклик на ту ситуацию «изъятости из печати», в которую Пастернак был поставлен в те недели. Можно полагать, что данный абзац, говорящий об «участи творцов, закладывающих начатки родного просвещения»⁹⁵, был вызван к жизни размышлениями о Паоло Яшвили и недавно арестованных Тициане Табидзе и Борисе Пильняке. Скрытая параллель между Стальским и автором заметки, проводимая в ней, не случайно возводилась к писательскому съезду: как и Пастернак, Сулейман Стальский своей всесоюзной репутацией, нежиз-

данно для самого себя, был обязан именно съезду⁹⁶. Замечательно, что, предсказывая переход в «бессмертие», Пастернак первым из прилагаемых к поэту атрибутов выбрал: прямодушный, полемически отзываясь на ходячее обвинение в «двурушничестве», выдвинутое против близких (и далеких) ему поэтов и восходившее к списку преступлений Бухарина. В 1931 году в «Охранной грамоте» главной чертой искусства объявлялось «вранье», незаконное «несение лишнего»; теперь, возвращаясь к старой мысли о том, что «самая жизнь» поэта есть «памятник письменности», Пастернак первой чертой поэта называет прямодушие. «Сдвиг» этот отражал радикальную перемену, произошедшую в отношении поэта, погружившегося в лирическое «молчание», и времени, стиравшего последние остатки свободы выражения в искусстве. Вся проблематика последующего творчества Пастернака оказалась пропущенной сквозь опыт этих лет. Свобода, отстаивание личной независимости, прямодушие⁹⁷ — и на них опирающееся понятие «правды»⁹⁸ — получили значение решающих принципов творчества и жизни поэта. Вот почему свое вступление к переводу «Гамлета» в 1940 году Пастернак завершил словами:

«Работу надо судить как русское оригинальное драматическое произведение, потому что, помимо точности, равнострочности с подлинником и пр., в ней больше всего той намеренной свободы, без которой не бывает приближения к большим вещам»⁹⁹.

Какой бы ни была на разных этапах литературной жизни в 30-е годы позиция Пастернака — шел ли он к приятной существующей власти или на разрыв с ней, — выражал ли он ее поэтическим творчеством или уходом в молчание, этот критерий внутренней — «намеренной» — свободы продиктовал целиком линию поведения поэта.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Роберт Конквест. Большой террор. Firenze, 1974, стр. 366.

² Информационное сообщение о пленуме — с упоминанием об исключении Бухарина и Рыкова из партии — было помещено в газетах 6 марта.

³ Roy A. Medvedev. Nikolai Bukharin. The Last Years. New York — London, 1980, p. 138.

⁴ Пильняковское выступление отрефе-

рировано в заметке «Собрание московских писателей». Правда, 1937, № 94 (7060), 5 апреля, стр. 6.

⁵ «Что происходит в СССР». Последние Новости, № 5865, 15 апреля 1937, стр. 1.

⁶ Ср. в статье А. М. Крюковой о поэме Асеева «Маяковский начинается».

⁷ В выступлениях 1936—1940 гг. еще была сильно ощутима боль, горечь от сознания непоправимой потери — этим настроени-

ем во многом будет определяться и лирический подтекст поэмы. Столь же ощутимо в ней и резкое полемическое начало, желание «рассчитаться» с врагами Маяковского. В личном архиве поэта сохранились незаконченные статьи и заметки этого периода, направленные против критики Корнея Зелинского, ведущих деятелей РАППа — Авербаха и Кириона, Демьяна Бедного и др. (...) Здесь еще отчетливо проявляются групповые пристрастия автора». — *Литературное Наследство*. Том 93. Из истории советской литературы 1920—1930-х годов. Новые материалы и исследования. М., 1983, стр. 442.

⁷ Этот термин был заимствован из обвинительного заключения по делу Пятакова и Радека.

⁸ И. Григорьев (И. Г. Лежнев). «Заседание партгруппы Правления Союза писателей». *Правда*, 1937, № 116 (7082), 27 апреля, стр. 4; И. Лежнев. «Собрание московских драматургов». Там же, № 118 (7084), 29 апреля, стр. 6.

⁹ В. Кирпотин. «Троцкистская агентура в литературе». *Правда*, 1937, № 134 (7100), 17 мая, стр. 4.

¹⁰ Там же, ср.: «Авербаховские корешки». *Последние Новости*, № 5091, 22 мая 1937, стр. 2. См. также: «В Союзе писателей». *Правда*, 1937, № 143 (7109), 26 мая, стр. 6, и статью о романе Ясенского «Человек меняет кожу» — Т. Мотылева. «Маскировка врага» (здесь же, стр. 4). Ср.: «Бруно Ясенский». *Последние Новости*, № 5895, 16 мая 1937, стр. 2.

¹¹ А. Гурштейн. «Поэт социализма». *Правда*, 1937, № 101 (7067), 12 апреля, стр. 4.

¹² Роман, написанный совместно с Беляевым.

¹³ П. Юдин. «Пятилетие решения ЦК ВКП(б) о перестройке работы литературно-художественных организаций». *Литературная Газета*, 1937, № 22 (658), 26 апреля, стр. 2.

¹⁴ «По широкому раздолью». Текст А. Раскина и М. Слободского. *Литературная Газета*, 1937, № 24 (660), 5 мая, стр. 6.

¹⁵ В качестве примера приводилось убийство поэта Николая Кузнецова, упомянутое в книге Истмена *Artists in Uniform* (1936). См.: И. Лежнев. «Собрание московских драматургов». *Правда*, 1937, № 118 (7084), 29 апреля, стр. 6. По поводу этого собрания спустя год Афиногенов писал: «Напрасно было опровергать, доказывать; просить понять. Все уже смешалось в общую кучу воплей и криков — убить, раздавить, уничтожить... Я пришел домой — бледный (...) Потом стал ждать. Через день — 29.V — появилась статья — с кличками «бандиты, на совести которых человеческие жизни». «Так началось все». — Александр Афиногенов. Избранное в двух томах. Том 2. Письма, Дневники, М., 1977, стр. 544 (запись от 27 апреля 1938 г.). В цитированной выше статье А. М. Крюковой об Асееве сообщается: «В архиве поэта сохранилась и брошюра

Л. Авербаха Памяти Маяковского, подаренная поэту Вс. Вишневским с такой дарственной надписью: «Николаю Асееву — в дни исторического расчета большевиков-писателей с бандой троцкистов. Они губили нашего Маяковского. Эта книга — улика. Обрушим ее на врагов. 23—29 апреля 1937 года. Москва».

Асеев действительно «обрушил» ее на своих противников: внимательно прочитав ее, он отчеркнул многие места в ней, сделал выписки, которые затем в трансформированном виде включил в поэму, в ее полемическую часть». — *Литературное Наследство*. Том. 93, М., 1983, стр. 445.

¹⁶ Афиногенов на протяжении ряда лет был приятелем Г. Г. Ягоды: эти отношения внушали литераторам зависть (см. Markoosha Fischer. *My Lives in Russia*. New York — London, 1944, p. 216). Сейчас, с падением Ягоды, над Афиногеновым нависла угроза ареста.

¹⁷ Ср. статью о Пастернаке В. Александрова «Частная жизнь» (*Литературный критик*, 1937, № 3, стр. 55—81). Ср. отклик на нее в кн. Л. Гомолицкого Арион. *О новой зарубежной поэзии*. Париж (1939), стр. 45—46.

¹⁸ Ср. упрек у П. Юдина в недостаточной «страстности» Пастернака и Пильняка.

¹⁹ Ср. оценку у Пастернака в декабрьском докладе В. Ставского и в февральском выступлении Д. В. Петровского.

²⁰ О. Войтинская. «Враждебные влияния в поэзии». *Литературная Газета*, 1937, № 29 (665), 30 мая, стр. 3. В вышедшей тогда же статье Е. Ф. Усиевич «бухаринский» период охарактеризован следующим образом: «Пастернак и Сельвинский, Сельвинский и Пастернак в течение почти трех лет на все лады «анализировались», «изучались» и навязывались народу». — Е. Усиевич. «К спорам о политической поэзии». *Литературный Критик*, 1937, № 5, стр. 76 (спустя полгода сама эта статья была квалифицирована как враждебная вылазка, выдержанная в русле «бухаринской» теории).

²¹ Ср. «размежевание» Пастернака с А. Жидом на Пушкинском пленуме — и отказ, по-видимому, от такого же размежевания с Бухариным.

²² Ср. атрибут «двурушничества», постоянно прилагавшийся к Бухарину его противниками в 30-е годы, — и тезис об «искренности» Пастернака, обсуждаемый далее в этой статье Изгоева.

²³ Ср. в «Спекторском» описание революции: «Попутно выясняется: на свете Ни праха нет без пятнышка родства...» (Борис Пастернак. Стихотворения и поэмы. М.-Л., 1965, стр. 335).

²⁴ Н. Изгоев. «Борис Пастернак». *Октябрь*, 1937, № 5, стр. 221—252.

²⁵ Ср. с той же статьей Войтинской.

²⁶ Изгоев цитирует последнюю строфу стихотворения «Балашов»:

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юридическая речь?
В природе лип, в природе липт,
В природе лета было жечь.

²⁷ Ср. о подлинной «активности» поэтической позиции Пастернака — в выступлении Е. Мустанговой на Минском пленуме 1936 г.

²⁸ Ср. стихотворение «Волны» и статью Зелинского 1933 года.

²⁹ Может быть, потому, что подобное сопоставление начинало выглядеть чрезмерно почетным по отношению к «юродивому» поэту.

³⁰ Фраза эта не приводилась в печатных отчетах о пленуме. Ср. концовку написанного в 1956 году стихотворения «Быть знаменитым некрасиво».

³¹ Ср. в другом месте статьи: «О, жажда славы, признание, бессмертья томит поэта! Эта мысль мучает его над гробом Владимира Маяковского, он чуть ли не с завистью говорит о том, как Маяковский врзается «вновь и вновь с наскоку в разряд преданий молодых» (255).

³² Ср. «О скромности и смелости» Пастернака (1936).

³³ Изгоев цитирует далее стихотворение «Весеннее порою льда» из Второго рождения.

³⁴ Н. Д. Изгоев, в двадцатые годы выступавший в На Посту, печатал свои очерки в Новом Мире, Октябре и наших Достижениях.

³⁵ «За подлинную демократию. Речь тов. А. Фадеева. Литературная Газета, 1937, № 13 (649), 10 марта, стр. 4. Ср. тезис о будущих талантах — в речи Кирпотина против Пастернака на мартовской «дискуссии» 1936 г. о формализме.

³⁶ Ольга Ивинская. В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком, стр. 146. Термин небожитель мог отсылать к заключительным строкам тютчевского «Цицерона».

³⁷ См.: В. Александров. «Частная жизнь». Литературный Критик, 1937, № 3, стр. 55—81 (номер сдан в производство 21 февраля 1937 г.). Статья эта перепечатана (с изъятием кусков, сопоставляющих Пастернака с Андреем Платоновым, в 1937 году главным фаворитом Литературного Критика) в кн.: В. Александров. Люди и книги. Сборник статей. М., 1956, стр. 171—207.

³⁸ Г. Ломидзе. (Рец.:) «Т. Табидзе. Избранные стихи. 1936. Гослитиздат», Новый Мир. 1937, стр. 279. Свой вывод о производительности и дефектности пастернаковских переводов рецензент подтверждает ссылкой как раз на те стихотворения, которые впервые появились в бухаринских Известиях. В покаянном письме А. К. Тарасенкова (Знамя, 1937, № 6, стр. 285) в числе совершенных критиком прегрешений называлась и хвалебная статья о грузинских переводах Пастернака.

³⁹ Ср. снова замечание об отсутствии «страстного» подхода к событиям у Пастернака — в речи Юдина. Ср. лейтмотив «страсти» в «Охранной грамоте».

⁴⁰ Ср. Donald Rayfield. «Pasternak and the Georgians», *Irish Slavonic Studies*, № 3, 1982, p. 40.

⁴¹ Вскоре после Пушкинского пленума

было сообщено о совещании в связи с подготовкой к Октябрьскому двадцатилетию антологии азербайджанской поэзии. По предложению В. Ставского, в дополнение к созданной ранее бригаде (в нее входили, в частности, В. Луговской, М. Светлов, А. Адалис, Н. Асеев) было решено привлечь и нескольких других переводчиков — среди них Б. Пастернака. Нам известен только один пастернаковский перевод из азербайджанской поэзии — С. Вургуня.

⁴² «Несколько штрихов к портрету Б. Л. Пастернака». Сообщение У. Д-Да. Память, Исторический сборник. Вып. 2. Париж, 1979, стр. 443, ср.: Исая Берлин. «Встречи с русскими писателями. 1945 и 1956», *Slavica Hierosolymitana*. Vol. V—VI (1981), p. 617—619.

⁴³ А. Гладков. Встречи с Пастернаком. Париж, 1973, стр. 135—136. (Ежов в это время был уже снят и репрессии шли на убыль.)

⁴⁴ Herbert Read. «The Necessity of Anarchism». *Poetry and Anarchism*, London, 1938. В первом варианте статьи фраза о Пастернаке и Шостаковиче выглядела по-иному: «Pasternak, since Mayakovsky's death the most important poet, and Shostakovich, the most promising composer of modern Russia are now both in disgrace». — Herbert Read. «Necessity of Anarchism», in: *The Adelphi*. September, 1937, p. 460 (Ср.: Boris Sonvarine. Stalin. A Critical Survey of Bolshevism, New York, 1939, p. 638.) Показание Г. Рида об аресте Пастернака было опровергнуто в книге: George Reavey. *Soviet Literature Today*. New Haven, 1947, p. 143 (Дж. Риви встречался с Пастернаком в период Отечественной войны). Ср.: George Reavey. «Boris Pasternak: The Man, the Poet and the Theorist of Beauty», in: *The Poetry of Boris Pasternak*. 1917—1959. New York, 1959, pp. 56—57. Ср. любопытную запись З. Масленниковой от 21 октября 1959 г.:

«Б. Л. дает оценку Рида в каких-то неуловимых для меня выражениях.

— Он был главой целой школы, — говорит он. — Эскейписты, персоналисты — вот как это называлось. Многие из вошедших в нее поэтов участвовали в этой войне. Они непротивленцы, но они отказывались не участвовать в войне, эскейпизм выражался в том, что они исключили войну из литературы.

— Мне он понравился по очень простой причине. Его герой постоянно ощущает тщетность индивидуальных усилий, безнадежность барахтанья человека в жизни. Но поступает всегда так, как будто уверен в целесообразности и успехе своих действий. Это у нас с ним общее. Не знаю, что за сила заставляет так действовать, ну, просто, чтоб не быть тряпкой». — Зоя Масленникова. «Портрет поэта». *Литературная Грузия*, 1979, № 4, стр. 141. Первый абзац (об «эскейпизме») здесь перекликается со статьей С. Шиманского о Пастернаке, появившейся во время войны. См.: Stefan Shimanski. «The Duty of the

Yonder Writer», in: *Life and Letters Today*. Vol. 36 (1943), February, pp. 94—96. Ср. также воспоминания о беседе с Пастернаком в 1945 году — о Г. Риде и С. Шиманском. — Исайя Берлин, цит. соч. стр. 608.

⁴⁵ Nils Ake Nilsson. «Besuch bei Boris Pasternak. September 1958», in: *Boris Pasternak. Bescheidenheit und Kühnheit. Dokumente. Gespräche. Dichtungen*. Zürich, 1959, SS. 108—109; R. Payne. *The Three Worlds of Boris Pasternak*. New York, 1961, pp. 132—133; Robert Conquest. *Courage of Genius. The Pasternak Affair*. London, 1961, p. 38.

⁴⁶ См.: Исайя Берлин. «Встречи с русскими писателями», стр. 616. Этот же эпизод имеет в виду О. Фрейденберг, говоря о «нежелании» Пастернака «подписаться под смертным приговором» (см.: Борис Пастернак. Переписка с Ольгой Фрейденберг, стр. 173).

⁴⁷ О. Хьюз справедливо связывает с ним радикальный поворот в отношении поэта к советской литературе. См.: Olga R. Hughes. *The Poetic World of Boris Pasternak*. Princeton and London, 1974, p. 150.

⁴⁸ Утверждение Р. Пэйна, что Пастернак был «довольно близко знаком» с Тухачевским, является необоснованным. — Robert. *The Rise and Fall of Stalin*. New York, 1965, p. 507.

⁴⁹ Впервые о нем в прессе было объявлено в тот же день, когда состоялся суд — 11 июня — и когда приехали к Пастернаку за подписью.

⁵⁰ Глеб Глинка. «Заключение» — в кн.: *На перевале*. Н.-И., 1954, стр. 405—407.

⁵¹ Ф. Левин. «Необходимое предупреждение». *Литературная Газета*, 1937, № 29 (665), 30 мая, стр. 4.

⁵² См.: «В партгруппе Правления Союза писателей». *Правда*, 1937, № 163 (7129), 16 июня, стр. 6; об исключении Безыменского из партии на собрании 9 августа см.: *Литературная Газета*, 1937, № 43 (679), 10 августа, стр. 6.

⁵³ См.: *Правда*, 1936, № 55 (6661), 25 февраля, стр. 1—2.

⁵⁴ «Прием делегации Советской Грузии руководителями партии и правительства в Кремле». *Правда*, 1936, № 80 (6686), 21 марта, стр. 5. Ср.: «Песнь о Сталине» П. Яшвили, в переводе Г. Цагарели, напечатанную в *Правде*, 1936, № 243 (6849), 3 сентября, стр. 3.

⁵⁵ «Паоло Яшвили». *Литературная Газета*, 1936, № 18 (581), 27 марта, стр. 5.

⁵⁶ Т. е. его приезде в Москву.

⁵⁷ Дочь П. Яшвили.

⁵⁸ *Вопросы Литературы*, 1966, № 1, стр.

179, *Новый Мир*, 1936, № 10, стр. 88.

⁶⁰ Речь идет о мартовском «бунте».

⁶¹ Замечательно, что все проявления последовательного сервиллизма у П. Яшвили Пастернак именует «мелочами», соразмеряя их с действительной величиной поэтического дара своего друга.

⁶² Ср. о «мужестве» — в «Новом совершенноте».

⁶³ Слова эти служат комментарием к стихотворению «Мне по душе строптивый норв» (в особенности — к его последней строфе).

⁶⁴ *Литературная Грузия*, 1966: № 1, стр. 83.

⁶⁵ «Наблюдательность, бдительность и зоркость. Речь тов. Павле Яшвили». *Литературная Газета*, 1937, № 12 (648), 5 марта, стр. 3—4.

⁶⁶ «Литература и искусство Грузии. Из доклада т. Л. П. Берии на X съезде КП(б) Грузии». *Литературная Газета*, 1937, № 30 (666), 5 июня, стр. 2. П. Яшвили застрелился 22 июля (12 августа ленинградский переводчик Борис Брик писал Тициану Табидзе: «Кстати, у нас прошел слух, что с Паоло случилось несчастье. Не знаю, верно или нет?» — Тициан Табидзе. Статьи. Очерки. Переписка. Тбилиси, 1964, стр. 263), но Пастернак узнал об этом лишь в середине августа. Параллель, которую он тогда провел между Яшвили и Маяковским в написанном 28 августа письме к Т. Г. Яшвили (*Литературная Грузия*, 1964, № 7, стр. 89), вытекала не только из сходства («насилственной», в терминах «Охранной грамоты») смерти, но и из сходства предсмертной ситуации: западня, в которую сам ставил себя большой поэт попыткой «совпадения» с враждебной литературе силой. Ср. с этим диаметрально противоположную линию поведения в те дни Тициана Табидзе — см. Г. Цурикова. Тициан Табидзе. Жизнь и поэзия. Л., 1971, стр. 305—306. Ср. описание последних дней Т. Табидзе перед арестом — в статье: Ю. Кротков. «Коломбина», *Новое Русское Слово*, 1970, 31 мая, стр. 7.

⁶⁷ Надежда Мандельштам. Воспоминания. Н.-И., 1970, стр. 319.

⁶⁸ К этим летним дням 1937 г. относится свидетельство Н. Я. Мандельштам, посетившей с мужем Пастернака (О. Мандельштам только что вернулся в столицу из трехлетней ссылки): «В день, когда в последний раз мы были с О. М. у него в Переделкине, он пошел провожать нас на станцию, и мы долго разговаривали на платформе, пропуская один поезд за другим. Борис Леонидович еще бредил Сталиным и жаловался, что не может писать стихов, потому что не сумел тогда по телефону добиться личной встречи». — Надежда Мандельштам. Воспоминания. Н.-И., 1970, стр. 318—319.

⁶⁹ Ставский именовался «ответственным секретарем».

⁷⁰ Леонид Борисович Пастернак родился 1 января 1938 года.

⁷¹ 6 декабря 1937 г. А. Афиногенов вносит в дневник запись о встречах с Пастернаком:

«Для романа: вот такой, как Пастернак. Знакомство с ним. Сначала — набор непонятных фраз, перескоки мысли, жестикуляция, мысли набегают, как волны — одна на другую, и после первого разговора — усталость, как после труднейшей мозговой работы.

Потом — новые встречи — разговоры о

более простых вещах, простой язык, а дальше — уже и самое сложное становится понятным... А сначала удивлялся его жене — как она, простая женщина, все понимает и может даже спорить, а ему приходится напрягать мозг, чтобы уловить хотя бы логическую связь...» — Александр Афиногенов. Избранное в двух томах. Т. 2, Письма. Дневники. М., 1977, стр. 508.

⁷² Ср. бессонницу 1935 года.

⁷³ Ср. о «буре толстовских разоблачений и бесцеремонностей» — в речи в Минске 1936 г.

⁷⁴ Ср. «концовку» телефонного разговора со Сталиным в июне 1934 г.

⁷⁵ Ольга Ивинская. В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком, стр. 145—146; стр. 268.

⁷⁶ Напомним, что Н. Изгоев в статье о Пастернаке с усмешкой говорил об «юродствующей» проповеди «независимости».

⁷⁷ Б. Фондан приводит интересное высказывание Л. Шестова, относящееся к этому времени: «Я видел ужасы при царях, но видел и людей непреклонных, отважных, не боявшихся смерти. Страшно не то, что Сталин убивает людей, — страшно, что он убивает в них все вплоть до смелости. Хуже тюрьмы — обращать людей в трусов». — Б. Фондан. «Разговоры с Львом Шестовым». Новый Журнал (1956), стр. 202.

⁷⁸ «Never in Soviet history has insecurity been greater than in the summer of 1937» — Louis Fischer. Men and Politics. A Autobiography. New York, p. 433.

⁷⁹ В книге Ивинской аналогичное высказывание приурочено к письму Пастернака к Сталину. Различия в деталях могут быть объяснены тем, что рассказ Ивинской излагает запись Маслениковой беседы с самим поэтом, тогда как Кротков опирался на свидетельство З. Н. Пастернак и Н. А. Табидзе.

⁸⁰ В Правде писательское письмо не являлось.

⁸¹ Юрий Кротков. «Пастернаки». Грани, 63 (1967), стр. 63—64.

⁸² «Не дадим жилья врагам Советского Союза. Письмо советских писателей». Известия, 1937, № 137 (6299), 12 июня, стр. 3; Литературная Газета, 1937, № 32 (668), 15 июня, стр. 1. Во второй публикации число поименованных «авторов» петиции было увеличено: из «и др.» к списку имен были присовокуплены В. Герасимова и Билль-Белоцерковский, но имя Пастернака устранено не было. Ср. о «языке подписей» в советских коллективных документах — Б. Николоаев/ский. «Опала маршала Жукова». Социалистический Вестник, 1946, № 7—8 (587—588), 20 августа, стр. 171.

⁸³ И. Берлин приводит рассказ Пастернака о Пильняке, ждавшем принесения ему на подпись подобного заявления («он постоянно выглядывал в окошко»): «Когда никто в конце концов не пришел, Пильняк понял, что он тоже обречен» (Исайя Берлин. «Встречи с русскими писателями.

1945 и 1956». Slavica Hierosolymitana, vol. V—VI (1981), p. 616.

Пильняк, подписи которого под заявлением о Тухачевском нет, был арестован в ноябре.

⁸⁴ 12 июня, в тот же день, когда в Известиях появилась писательская резолюция, Правда напечатала стихотворный отклик Безыменского на процесс над героями гражданской войны — см.: А. Безыменский. «Закон миллионов». Правда, 1937, № 160 (7128), 12 июня, стр. 5. На следующий день ему предстояло держать ответ перед партийным собранием о своих старых «троцкистских» грехах, и, как показало ближайшее развитие разбирательства его «дела», никакие «благонамеренные» поступки ему не помогли.

⁸⁵ И Ю. Кротков и сам Пастернак явно преувеличивали «спасительную» роль «редакционной ошибки» в условиях разгула массового террора.

⁸⁶ По замечанию Г. Гиффорда, Пастернак никогда не торговал совестью во имя личного спасения. — Henry Gifford. Pasternak. A Critical Study. Cambridge University Press, 1977, p. 11. Ср.: Pasternak's strength lies in his absolute independence; an individualist in the midst of a totalitarian revolution he makes no compromises. — I. M. Cohen. The Poetry of Boris Pasternak. Horizon. Review of Literature and Art. Vol X. No 55 (July 1944, pp. 35—36).

⁸⁷ За год до того тот же экипаж совершил другой блистательный подвиг, и тогда среди приветствовавших его литераторов был и Борис Пильняк, сообщивший о том, что они с А. Беляковым — друзья с детских лет. См.: Бор. Пильняк. «Всем троим». Известия, 1936, № 171 (6028), 24 июля, стр. 2.

⁸⁸ Институт мировой литературы им. А. М. Горького. Рукописный отдел. Фонд 120, оп. 1, № 13. На листе — помета «Н. П.» (с подписью) — по-видимому, резолюция редактора («не печатать»). Редакции явно хотелось поместить отклик Пастернака на героический перелет — об этом свидетельствует редакторская правка в заметке: зелеными чернилами вычеркнуто слово «от» и все последнее предложение густо зачеркнуто черным карандашом.

⁸⁹ Тогда за границу и проник слух об его аресте.

⁹⁰ Ср. свидетельство об уклонении Пастернака («по болезни») осенью 1937 г. от участия в большом вечере поэтов в Политехническом музее и о нападках там А. А. Суркова на него — Сергей Наровчатов. «Во имя...» Новый Мир, 1982, № 1, стр. 176. 21 сентября 1937 г. Афиногенов в записи о Пастернаке сообщает: «Он не читает газет — это странно для меня, который дня не может прожить без новостей». Ср. здесь же запись от 22 сентября: «Эта отрешенность от всего остального — от газет, которых он никогда не читает, от радио, зрелищ, от всего, кроме своего мира работы, — создает ему такую жизнь, которой не страшны никакие невзгоды...» — Александр Афиногенов. Из-

бранное в двух томах. Т. 2. Письма. Дневники. М., 1977, стр. 462, 463.

⁹¹ В 1937—1939 гг.

⁹² Борис Пастернак. «Он перейдет в легенду». Литературная Газета, 1937, № 64 (700), 26 ноября, стр. 3; Б. Пастернак, III, 160—161.

⁹³ Умер он за три недели до первых выборов в Верховный Совет СССР, кандидатом в депутаты которого был выдвинут в соответствии с новой Конституцией.

⁹⁴ Состоялся он только после смерти Сталина, в 1954 году. В автобиографии Пастернака 1956 г. Первый съезд писателей упомянут только мимоходом.

⁹⁵ Ср. показание В. Я. Брюсова о первых революционных годах: «Молодые поэты знали наизусть стихи Пастернака, еще где не появившиеся в печати, и ему подражали полнее, чем Маяковскому, потому что пытались схватить самую сущность его поэзии». — Вал. Брюсов. «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии». Печать и Революция, 1922, № 7, стр. 57.

⁹⁶ Ср.: А. Безыменский. «Сулейман Стальский». Правда, 1934, № 229 (6115), 20 августа, стр. 3. Ср.: Р. Фатуев. «Великий ашуг». Литературная Газета, 1936, № 58 (621), 15 октября, стр. 3.

⁹⁷ Ср. запись слов Пастернака в дневни-

ке А. К. Гладкова от 7 марта 1942 года: «Нет ничего более полезного для здоровья, чем прямодушие, откровенность, искренность и чистая совесть». — Александр Гладков. Встречи с Пастернаком. Париж, 1973, стр. 64. Ср. слова доктора Живаго (ч. 15, гл. 7): «От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного криводушия. Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь; распинаться перед тем, что не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастье».

⁹⁸ В стихотворении «Правда» (1941) определенно проскальзывают аллюзии на события 1936—1937 гг. в жизни Пастернака. См.: Борис Пастернак. Стихотворения и поэмы. М.-Л., 1965, стр. 557, 703.

⁹⁹ IV, 191; Молодая Гвардия, 1940, кн. 5—6, стр. 16. К этой же теме Пастернак вернулся в статье «Мои новые переводы» (III, 193; Огонек, 1942, № 47, стр. 13): «В отношении Шекспира уместны только совершенная естественность и полная умственная свобода. К первой я, как мог, готовился в скромном ходе моих собственных трудов, ко второй подготовлен своими убеждениями». Ср. о «свободе» — в заметке «Новое совершеннолетие» (1936).



С выставки «Latvijas laiks». Семья Микельсонов. Приблизительно 1910 г. Фото Яниса Риекста

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОРТРЕТА

В № 9 вашего журнала я прочитала интервью А. Дубчека западногерманскому телевидению. В связи с этим я хочу рассказать вам о своих впечатлениях об этом человеке.

Над моим письменным столом вот уже 20 лет висит портрет Александра Дубчека. На портрете нет надписи, поэтому я, даже в годы страха и бесчестья, когда подобные выходки, мягко говоря, не одобрялись, — не особенно боялась, что могу быть наказана.

Откуда же этот портрет? За что ему такой почет?

Чтобы пояснить это, надо начать издалека.

В середине шестидесятых годов я заинтересовалась работами Отто Шика и других чехословацких экономистов. И стала пристально следить за тем, что происходит в этой стране. Поэтому, когда утром 24 августа 1968 года по дороге на работу я узнала, что войска Варшавского Договора оккупировали Чехословакию, — я внутренне была к этому готова. Не готова я была только к тому, что советский народ столь единодушно одобрит вторжение. До сих пор с гневом вспоминаю выступления в печати, к счастью немногочисленные, «инженеров человеческих душ» — писателя М. Шолохова, поэтессы Л. Татьяничевой.

Несколько дней я не отходила от приемника и, несмотря на с ума сводящий грохот «глушилок», записывала все, что удавалось услышать. Мир был потрясен. Мир ужаснулся.

И вот в те дни я решила, что обязательно должна побывать в Чехословакии. Летом 1969 года судьба преподнесла мне подарок. Я поехала лечиться в Карловы Вары. Но большую часть времени проводила в Праге (каждый раз захватывая с собой канистрочку со знаменитой водой из Карловых Вар).

В семье профессора Пражского университета (с которым я случайно познакомилась в знаменитом Музее фарфора) я встретила авторов «2000 слов». Они-то и рассказали мне всю правду о том, что произошло в Чехословакии и что этому предшествовало. Рассказали о Дубчеке, Чернике, Смирковском. Дубчек уже тогда был снят с поста и, если мне не изменяет память, преподавал в школе, носящей имя Масарика.

Вот тогда я впервые услышала о том, как страстно Дубчек мечтал ориентировать страну на «социализм с человеческим лицом». Мне рассказали о его аресте, отправке в Москву, о его возвращении. Один из моих собеседников встречал его: «Дубчек был бледен, было видно, каких усилий стоит ему сохранить спокойствие. На вопрос, как обстоят дела в Москве, он ответил: — Лучше не спрашивать!»

Я никогда и никому не поверю, что Дубчек был способен предать свои идеалы.

Милейшая пани Франтишка, горничная из отеля «Империал» (где я жила в Карловых Варах), рассказывала мне, что Дубчек был очень доступен, не имел охраны, свободно ходил по улицам и площадям Праги и каждый желающий мог позвать ему руку и поговорить. Народ его очень любил. Уже 10 месяцев

спустя после вторжения я сама видела надписи на стенах и листовки, еще не везде содранные:

«Дубчек, Черник, Смирковский! Ви з нами, ми з вами!»

И я увидела, что все высказывания Биляка направлены на то, чтобы унижить и оболгать человека, хотевшего 20 с лишним лет назад увидеть то, что мы, россияне, хотим сейчас: социализм с человеческим лицом!

Я думаю, что народ Чехословакии еще скажет свое слово об А. Дубчекепатриоте, о человеке, не опозорившем себя в тяжелейшей и безвыходной ситуации.

Когда я уезжала в Союз, в Праге в мой вагон пришли все, с кем я провела столько интересных незабываемых встреч, и кроме цветов, заполнивших все купе, мне подарили портрет А. Дубчека, который я благоговейно храню до сегодняшнего дня.

С уважением
Т. КОБЫЧЕВА,
г. Апатиты Мурманской области

ДРУЗЬЯ, ОТЗОВИТЕСЬ!

Уважаемая редакция!

Помогите мне найти дорогих нам людей, фамилию которых не помню. Во время Великой Отечественной семья брянских партизан — мать, я и сестра — жила на хуторе недалеко от Тукумса в латышской семье. Хозяйку звали Эмилия, имени ее мужа не помню, но, кажется, Эмиль; сыновья — Эдгар, примерно 1934 — 1936 года рождения, Артур — 1937 или 1938 года, дочь Вэлта — родилась уже при нас, если не ошибаюсь, в начале 1944 года. Была у них бабушка, и еще не то сестра хозяйки, не то хозяйна — парализованная женщина, но она, кажется, умерла, потому что я смутно помню какие-то похороны. Жил с ними и брат их Карл, он хромял. Наша фамилия Куцубины. Моя мама Ольга Николаевна, они звали ее Волга. Моя сестра — Люба — была ровесницей Эдгару, а я — Лена, на год моложе Артуру.

Эта семья спасла нас во время войны. Они прятали маму от немцев и каких-то латышских отрядов, когда те делали свои набег.

Помню, как однажды арестовали нелегально живших у них дядю Гришу и дядю Мишу. Захваченных и местных жителей повели на кладбище. Эдгар, Артур и моя сестра Люба пасли в поле скот, мама успела спрятаться. А меня с хозяйкой, у которой на руках была маленькая Вэлта, поставили в конце колонны, заставили поднять руки и тоже повели на кладбище. Помню, наша хозяйка заступалась за меня, и когда я не подняла рук, сказала, что я сиротка. На кладбище была вырыта могила. И многих, в том числе дяденьку Гришу и дяденьку Мишу, расстреляли.

Хутор, на котором мы жили, назывался «Алираги». Куда я только не писала, а найти их не могу. Думаю, что Эдгар, Артур, Вэлта (а возможно, и кто-нибудь из их родителей) еще живы: ведь они были лет на 15 моложе нашей матери. У нас не было родни — всех уничтожила война, мы считали этих людей своими родными, да и они были привязаны к нам. Иначе они не писали бы нам, не помогали бы, пока могли. Они были высланы в Сибирь, а потом вернулись на родину. Мы переписывались, но письма не сохранились.

Эдгар, Артур и Вэлта! Мы помним все и вас не забывали.

Отзовитесь!

Елена Куцубина (Пан)

Мой адрес: 700146
г. Ташкент-146,
ул. Строительная, дом. 9, кв. 29.
Тел. 90-06-77

О ПАСТЕРНАКИПИ

Уважаемая редакция!

Хотелось бы передать через вас Александру Исаевичу Солженицыну некоторые дополнительные данные. Сначала — небольшое уточнение: было арестовано четыре брата Старостиных (Александр, Андрей, Николай, Петр).

Дьяков сам рассказал, кто он такой. Относительно Алдан-Семенова. Широко известен «Барельеф на скале», но гораздо менее известно, что 30 октября 1958 г. в «Казахстанской правде» появился следующий донос, подписанный Михаилом Балакиным и Андреем Семеновым:

ПАСТЕРНАКУ

*Ты ел наш хлеб,
Целинный полновесный,
Ты с нами под одною кровлей жил,
Но за полвека даже скромной песни
Ты нашему народу не сложил.
Твой идеал давно в крошечном мраке.
Как больно нам, как стыдно, что меж нас
Еще живут и ходят пастернаки
И выжидают свой продажный час.
Ты не страдал, не строил, не любил,
Не создавал ни фабрик, ни совхозов.
Во что ты метил и во что ты бил —
То грудью защищал своей Матросов!
Восхищены тобою не друзья,
А желтые продажные писаки . . .
Нельзя простить и оставлять нельзя
В литературе нашей Пастернакиль!*

То, что автор «Барельефа на скале» и один из авторов вышеприведенного доноса один и тот же человек, устанавливается по указателю «Русские советские писатели — прозаики», т. 7, ч. 1, с. 65, 67.

Владимир Дмитриевич Дудинцев вспоминает погром своего романа «Не хлебом единым»: «... Например, одни... не буду имен называть, мне их жаль... одна очень солидная писательница поднялась на трибуну и, разрывая на груди свои кружева, кричала — не говорила, а кричала: «Я сидела двадцать лет! (А она сидела 20 лет.) Вот у меня здесь под кружевами знаки тяжелейших пыток. Я же все время только благодарила родную партию, что она мне послала такие испытания. В результате чего я могла проверить сама свою твердость и продемонстрировать... А вот этот Дудинцев — ведь он же нигде не сидел, никто ему ничего не делал. Как же он мог?» («Иного не дано». М., «Прогресс», 1988, с. 607). Почти уверен, кто это был, но уверенность — не доказательство, поэтому фамилию называть не буду.

*С уважением Г. А. Альтшуллер,
Ленинград*

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Решила написать, прочитав в № 9 за 1989 г. повесть Е. Макаровой «Послезавтра в Сан-Франциско». Я читала не отрываясь, «взахлеб». Спасибо вам за эту публикацию! Нигде до этого не читала я об этой горестной раздвоенности нашего сегодняшнего состояния: шаткости и безысходности существования здесь и в то же время острое ощущение, что и там мы, рабы взрастившей нас системы, останемся навсегда чужими. Только единицы приживаются там и находят родину.

Но читая подобные произведения и находя там постоянно будоражащие тебя мысли, все-таки хочется получить ответ на вопрос: а как считает сам автор?

На мой взгляд (безусловно, это сугубо личное мнение), сейчас необходимы, как никогда, произведения, предлагающие конструктивные решения назревших проблем. Повесть же только ставит большие вопросы, не давая на них ответа.

Хотелось бы видеть на страницах вашего журнала произведения, которые не только ставят вопросы, но и оставляют надежду на их разрешение.

И. ВЫСОЦКАЯ, г. Минск

БЛИЗКИЕ УТОЧНЯЮТ

В журнале «Даугава» № 9 за 1989 год в «Картотеке Юрасова-VI», пункт 84, указано: «Розенталь Эдуард Фрицевич (1890 — 11 августа 1938 г. «ВМН»). Заместитель наркома НКВД СССР (Народного комиссариата внутренних дел). Арестован 6 мая 1937 года».

На самом деле Э. Ф. Розенталь был заместителем наркома НКВД — Народного комиссариата водного транспорта СССР. Дело по обвинению Э. Ф. Розенталя пересмотрено Военной коллегией Верховного суда СССР 11 апреля 1956 года. Приговор от 20 июня 1938 г. в отношении Розенталя Э. Ф. Военной коллегией по вновь открывшимся обстоятельствам отменен, и дело о нем за отсутствием состава преступления прекращено (Военная коллегия Верховного суда СССР 24 апреля 1956 г., № 4н — 03709/56, Москва, ул. Воровского, 13. Заместитель председателя Военной коллегии Верховного суда Союза ССР полковник юстиции В. Борисоглебский).

Убедительно просим редакцию журнала «Даугава» помочь идентифицировать данные картотеки Д. Юрасова с действительными фактами, а также опубликовать в ближайшем номере журнала подлинные факты биографии Э. Ф. Розенталя и данные о его реабилитации.

РОЗЕНТАЛЬ РАССА ЭДУАРДОВНА — дочь Э. Ф. Розенталя,
АКИНШИНА-РОЗЕНТАЛЬ АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА — его внучка,
АНТОН, ОЛЬГА и ЮЛЯ ГЛЕБОВЫ — правнуки.
г. Москва

Авторы снимков в тексте: Харий Бурмейстарс, Гунар Яняйтис.

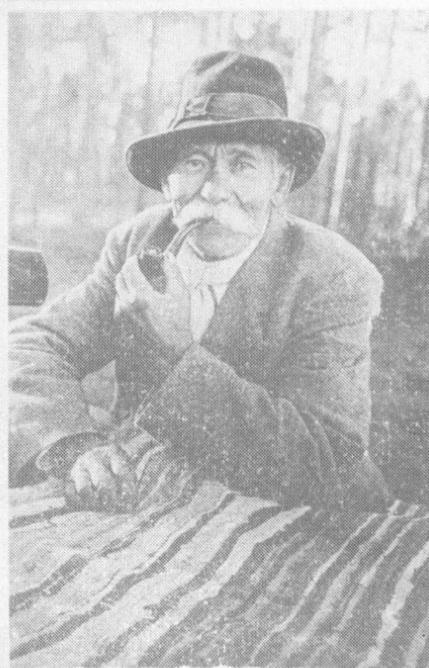
Сдано в набор 04.12.89.
Подписано к печати 08.01.90. ЯТ 00101.
Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,
мелованная бумага. Офсетная печать.
Обложка и вклейки — высокая печать.
8,0+0,25+0,25 усл.-печ. п., 9,75 усл. кр.-отт.,
11,78 уч.-изд. л. Тираж 100 000.
Заказ № 2150. Цена 45 коп.
Адрес редакции: 226081. Рига, ГСП,
Баласта дамбис, 3.
Телефоны: гл. редактор 466049,
зам. гл. редактора 465913,
отв. секретарь 465996,
отд. прозы и критики 465992,
отд. поэзии 465998,
отд. публицистики 465990,
техн. секретарь 465993.
Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии,
226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

Технический редактор
Мудите АРАЯ.

Корректор
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.



Фото Яниса Риекста. 1910 год



● Фото Л. Виржиковскиса. 1910-е годы. ● Фото В. Урбановича. Начало 1920-х годов. ● Почтальон. Конец 1920-х годов. Фото Роберта Иохансона.
● Житель Видземе. Конец 1920-х годов. Фото Роберта Иохансона



Дети Латгалии.
Конец 1920-х годов.
Фото Роберта Иохансона



● На манифестации. Июнь 1940 г. Фото Эдуарда Крауца. ● Посол Латвии в Советском Союзе Фрицис Коциньш. Конец 1930-х годов. Фото Карлиса Баулса. ● Музыкант на толоке. Дзирциемс, 1947 год. Автор снимка неизвестен. ● Выборы в сейм 14 июля 1940 года. Фото Эдуарда Крауца



С выставки «Latvijas laiks». День кукол в Слокенбеке. 1988 г.

Фото Гунара Янайтиса

